

С. А. Фомичев



*Праздник
ЖИЗНИ*

*ЭТЮДЫ
О ПУШКИНЕ*



Санкт-Петербург
„Наука”
1995

ББК 83.3(0)5
Ф 76

Ф $\frac{4603010000-571}{042(02)-95}$ Без объявления

ISBN 5-02-026017-7

© С. А. Фомичев,
1995
© Л. А. Яценко,
оформление,
1995



В мире Пушкина

Среди прижизненных портретов Пушкина известен только один, запечатлевший поэта в движении. Невысокого роста («два аршина, пять вершков»), в широком боливаре и с тяжелой тростью в руке он идет навстречу нам — стремительный и зоркий. Облик непарадный, даже шаржированный, но в нем схвачено нечто главное в натуре Пушкина, в его судьбе. Нельзя представить его остановившимся, успокоившимся, забронзовевшим.

В родословной будущего поэта скрестилось несколько ветвей, уходящих в глубины русской истории и отмеченных многими именами участников важнейших событий в государственной жизни страны. В набросках своей автобиографии, в трагедии «Борис Годунов», в романе о царском арапе, в стихотворении «Моя родословная», в статьях и письмах Пушкин впоследствии будет часто вспоминать о них, заметив однажды: «Гордиться

славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное мало-душие».

Сама же пушкинская эпоха была ключевой для целого века русской истории. Не только основной тон пушкинской поэзии, но и ее масштаб был определен 1812 годом со всей совокупностью его исторических следствий.

Пушкин всегда был внимателен к датам: в его рабочих тетрадях они неизменно отмечали этапы работы над произведениями, перепробовались пометами о событиях разного масштаба, в какой-то связи для него особенно важных: «18 июля 1821. Известие о смерти Наполеона»; «После обеда во сне видел Кюхельбекера. 1 июля день счастливый»; «Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина 24 июля» (эта запись зашифрована). Таких зарубок на память в черновых пушкинских рукописях чрезвычайно много и, вглядываясь в них, мы понимаем, насколько все его творчество было наэлектризовано живым ощущением времени.

Россия же эпохи Пушкина испытала многое: торжество победы русского народа в Отечественной войне 1812 года и мрачную пору аракчеевской реакции, подвиг друзей-декабристов и отчаяние казематов Петропавловской крепости, непрерывные волнения крепостных крестьян и тупую силу николаевского жандармского режима. За несколько месяцев до гибели поэт восклицал:

Чему, чему свидетели мы были —
Игралища таинственной судьбы
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари,
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари...

Складывалась судьба мира. Время стало осязаемым, как «тяжелозвонкое скаканье» Медного всадника «по потрясенной мостовой».

Если осмелиться на определение главной темы пушкинского творчества, то это будет, пожалуй, воспоминание. Память о пережитом и опыт истории слились уже в юношеских «Воспоминаниях в Царском Селе», первом стихотворении, появившемся в печати за полным именем поэта: Александр Пушкин. «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, — считал поэт, — залог величья человека, самостояния его». Поэтому верное и всестороннее воссоздание фактов истории он назовет «подвигом честного человека». Но неизмеримо труднее было сохранить память о своем времени, ибо самым обыкновенным делом бывает циничное забвение совсем недавнего, казенная «фигура умолчания». Последнее детище Пушкина, его журнал «Современник» освящен воспоминанием о лучших людях своего поколения.

Существует любопытное замечание о Пушкине в «Дневнике» В. К. Кюхельбекера. Прочитав только что вышедшую из печати последнюю главу «Евгения Онегина», свеаборгский узник 17 февраля 1832 года записал: «Поэт в своей 8 главе похож сам на Татьяну;

для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет». Это умение Пушкина — обращаясь к широкому читателю, в то же время быть по-особому близким своим задушевному друзьям — отмечали и многие исследователи пушкинского творчества.

С такой точки зрения в высшей степени интересен его последний, четвертый, том «Современника», вышедший в свет в ноябре 1836 года. Здесь напечатано лишь одно пушкинское произведение, повесть «Капитанская дочка», да и то без подписи автора. Вместо нее на странице 215, в конце текста, была проставлена дата «19 октября 1836» — словно привет Пушкина своим братьям, своего рода поздравление им с двадцатипятилетием открытия Лицея. Понятно, что именно для них был пронзительно внятен эпиграф к «Капитанской дочке»: «Береги честь смолоду», — перекликающийся со строками лицейской «Прощальной песни»:

Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде — да, неправде — нет,
В несчастье — гордое терпенье
И в счастье — всем равно привет.

А это в свою очередь особым светом освещало общую коллизию произведения, повеству-

ющего о трудной судьбе пылкого человека, завлеченного историческими обстоятельствами в несчастье, которое, однако же, должно пройти. И конечно, лицейские не раз перечитывали эпизод в конце романа, рисующий картину столь знакомого им по юношеским впечатлениям Екатерининского парка.

И, очевидно, после этого, вновь перелистывая страницы пушкинского журнала, его лицейские друзья вполне оценили, насколько напитаны его публикации давними впечатлениями, заветами светлой дружбы. Открывался журнал статьей Д. Давыдова «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта», и она возвращала в те годы, когда в газетном зале собирались они все вместе, жадно читая репортажи о военных событиях, с тревогой просматривая списки убитых и раненных на полях сражений. Сама же повесть «Капитанская дочка», конечно же, не случайно была обрамлена двумя стихотворениями — неизвестного в ту пору Ф. Т. (Тютчева) и Е. Баратынского. Нет, они не учились в Лицее, но издатель журнала знал, с каким чувством эти строки прочтут его сокурсники:

Душа моя — Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам години буйной сей,
Ни радости, ни горю не причастных.
Душа моя, Элизиум теней!
Что общего меж жизнью и тобою,
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою.

И — после повести:

...Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарившие меня,
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует Провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!..

А далее шла анонимная статья (А. Н. Муравьева) «Вечер в Царском Селе», и в ней снова отблеском мерцали далекие юношеские впечатления: «...есть минуты, в которые прекрасная природа, музыка, приятная беседа или нечаянные встречи располагают сердце живее чувствовать и принимать впечатления. Только все прошедшее человека, потеряв постепенную давность, возвращается к нему в смешанной толпе воспоминаний, выбирая только лучшие цветы со всего поля жизни; тогда воображение развивает опять перед ним те чудные места, которые посетил он, стирая из памяти все трудности пути; тогда опять, как сноведения летней ночи, на время оживают незабвенные лица, бывшие некогда спутниками на житейском поприще, и смерть их кажется только разлукою, ибо мысль о них уже не раздирает душу...»

Заклучался номер журнала вроде бы сухим списком «Новых книг, вышедших с октября месяца 1836 года», но для друзей была по-

нятна последняя строка в этом перечне: «Русский Декамерон, соч. Иванова в 1832 г. С. П. Б.». В действительности же была книга узника В. Кюхельбекера и проведена она была в печать его «братом по музам, по судьбам», издателем журнала «Современник», Александром Пушкиным.

Может быть, одна из главных причин нашего совершенно особого, задушевного отношения к Пушкину заключается и в том, что он успел побывать повсюду. «Твоей молвой наполнен сей предел...» И сей, и этот, и тот... В Москве Пушкин родился. В подмосковном Захарове услышал сказки, впервые побудившие поэтические струны души. Царскому Селу суждено было стать его поэтическим Отечеством. Из Петербурга разошлись по всей России его «возмутительные стихи». В Крыму, по собственному признанию поэта, осталась колыбель его «Онегина». Кавказ породил поэму, принесшую Пушкину славу первого русского поэта. Маршруты пушкинских путешествий — «то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком» — протянулись от Петербурга до Арзрума, от Кишинева до Оренбурга. На святогорской ярмарке он слушал предания о Стеньке Разине, в уральской слободе — рассказы о Пугачеве, в цыганском таборе — песни, в казахской юрте — сказание о Козы-Корпеш и Баян-Слу. Поэтическим слухом, художественным видением он проникал и туда, куда не доводила его дорога. Он никогда не был в Латвии, но в послании к Дельвигу воскресил старую Ригу и тем особенно стал

близок латышам. Он рвался душой к друзьям, томившимся «во глубине сибирских руд» и уверенно предугадывал то время, когда «чувства добрые», пробужденные его лирой, отзовутся в сердце «дикого тунгуса».

Удивительна жизнь Пушкина! Сказать, что она складывалась удачно — едва ли не кощунственно. Каких только бед не обрушивалось на него! Ну пускай, по молодости, ссылки казались ему еще не небом в овчинку. Но потом ведь было едва ли не хуже и гаже. Его предавали, его стремились унижить, его заставили надеть камер-юнкерский мундир, его травили в журналах, терзали кредиторы. «Черт догадал меня родиться в России, с душою и талантом», — это же Пушкин сказал! Каково же ему было... Неудачником он, однако, не стал. Даже когда судьба загоняла его в тупик, он открывал дальние дали.

Приехав для устройства хозяйственных дел в далекую, Богом забытую деревеньку, отделенную даже от губернского Нижнего Новгорода сотнями верст непролазной осенней грязи, поссорившись на прощанье с матерью невесты, зажатый холерными карантинами, он не пал духом. Если бы до нас не дошло из пушкинских произведений ничего, кроме трехмесячного «болдинского урожая», в истории мировой культуры он все равно остался бы Пушкиным. Суть даже не в поразительном многообразии созданных в Болдине шедевров. Каждый из них — откровение: в «Сказке о Балде» литература сомкнулась с народно-поэтическим творчеством, в «Домике в Коломне»

предвосхищена натуральная школа, в «Истории села Горюхина» — М. Е. Салтыков-Щедрин, в «Маленьких трагедиях» — интеллектуальная драма XX века. Да и кто сказал, что Болдино — захолустье? Достаточно выйти к границам усадебного парка, чтобы — особенно осенью — увидеть в разноцветье бескрайних, волнами разбегающихся просторов, что Болдино — в центре России, а может быть, и всего мира. Но чтобы впервые почувствовать это, нужно было быть Пушкиным.

Одно из болдинских стихотворений, вызревшее в смутных шорохах ночи, заканчивается обращением к жизни: «Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу». Подготавливая стихотворение к печати, В. А. Жуковский поправил последнюю строку: «Темный твой язык учу». Рифма стала глаже — пушкинский смысл выцвел.

Он владел чуждым даром в поэтическом слове гармонично совмещать истину, красоту и добро. «Гений и злодейство — две вещи несовместные», — так говорит Пушкин. Можно представить, как ту же тему развили бы Л. Н. Толстой или Ф. М. Достоевский. Они бы сумели схватить в сложном периоде или в нервно-напряженном абзаце противоречивую сложность человеческой природы, искалеченной, омутневшей в потоке жизни, смутно догадывающейся тем не менее, каюсь или ерничая, о высшей истине. Какой? Да той же самой: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Русская литература после пушкинских открытий неустанно развивалась, она запечатле-

ла жизнь во всей ее сложности, во всех ее трагических противоречиях. Но в идеалах своих она стремилась к пушкинской ясности, ибо ему дано было — возможно, по праву пытливого первооткрывателя — назвать все вещи своими именами, всему дать свою меру.

Привычно сравнивая его поэзию с лучом света («светлый гений Пушкина»), мы порой не ощущаем, что в своем подлинном смысле это сравнение подчеркивает высшую сложность, а лучше сказать — предельную наполненность пушкинского творчества: ведь «белый», прозрачный луч света — это гармоническое единство всех цветов.

С. М. Эйзенштейн как-то признался, что, строя кадр, он учится у Гоголя, монтируя кадры — у Пушкина. И в этом также проявляется счастливая способность Пушкина предугадать грядущие художественные открытия.

В центре внимания Пушкина — всегда событие, со-бытиé.

Черновики Пушкина примечательны не только густой сетью зачеркиваний и поправок, но и быстрыми, в одно касание (опять же очень современными по манере) рисунками. И, вглядываясь в них, мы узнаем Кюхлю, Пущина, Рылеева, Чаадаева, Грибоедова, Арину Родионовну, Керн, Натали — всех тех, кто дорог часто нам сам по себе, но все же особенно близок потому, что они из пушкинского мира. Все они, оказывается, не только встретились с поэтом в жизни, но и сопровождали его в творческом воображении.

Нет, он не был небожителем. «Ты спрашиваешь, — шутит он в письме к жене, — как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду: ус да борода — молодцу похвала; выду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался и уж написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов — читаю. Вот мой день, и все на одно лицо».

Но в те же дни он пишет стихотворение «Осень»:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен своим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне,
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и горит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем.
И тут идет ко мне незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды души моей...

Кто эти гости? Герои ненаписанных произведений? Да и они, конечно, но прежде всего — вполне реальные люди, те знакомцы, вспоминая которых, он находит наконец искомое, заветное слово. Пушкин словно советовался и спорил с ними, словно предугадывал их реакцию, словно искал у них поддержки. Слово Пушкина очеловечено уже в рождении своем.

Потому и не мертвеет пушкинское слово. Вот уже более полутора веков минуло после его

гибели (огромный исторический опыт!), а он остается по сию пору самым читаемым у нас писателем. То ли мы читаем сейчас, что он написал, или вычитываем у него свое, сиюминутное, ему самому неведомое? Вопрос не праздный, если учесть расхожий штамп: «свой Пушкин».

Вслушаемся в пушкинский текст:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Наверное, читателю пушкинской эпохи эти строки могли показаться холодными. И только человеку XX века, века атомного, экологически потревоженного, открылся их высокий, пророческий, предупреждающий смысл, к нам обращенный.

Здесь уместно коснуться одного застарелого пушкиноведческого недоразумения.

В год столетнего юбилея Пушкина В. С. Соловьев оценил его поэтическое завещание, стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» как «достойный и благородный „компромисс“ поэта с будущим народом». «Это стихотворение, — заметил он, — есть не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) credo Пушкина — непостыдное соглашение его с потомством. Для поэта главное в поэзии — она сама, но он не может отрицать и ее нравственной пользы; для „народа“ главное в поэзии — это нравственная польза, но ведь

он ценит и ее прекрасную форму. Значит, нет надобности обращать эти два взгляда острием друг против друга, когда они могут сойтись в одной и той же, хотя и неодинаково обоснованной оценке:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа».

Предостережение оказалось нелишним. Спустя два десятилетия М. О. Гершензон (в книге «Мудрость Пушкина») обратил-таки «эти два взгляда острием друг против друга»: «Я сразу же выскажу мысль, чуждую всяких ученых соображений, внушенную единственно простым чтением пушкинских строк; я полагаю, что только так, и никак не иначе должен понять эти строки всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно.

Пушкин в четвертой строфе „Памятника” говорит не от своего лица, — напротив, он излагает чужое мнение, мнение о себе народа. Эта строфа не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит...

В „Памятнике” точно различены: 1) подлинная слава — среди людей, понимающих поэзию, а таковы преимущественно поэты:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит;

и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава-известность:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Эта пошлая слава будет клеветою...

Я утверждаю, что лишь при таком понимании становится понятной пятая, последняя строфа „Памятника”, совершенно бессмысленная в традиционном истолковании(...) Ее смысл — смирение перед обидой».

Само собой разумеется, подобное обвинение не могло впоследствии не вызвать протеста. Нельзя не заметить, однако, что пушкинисты, опровергавшие трактовку М. О. Гершензона, вынуждены были выходить за пределы текста данного стихотворения, про верить высказанное Пушкиным в «Памятнике» контекстом его общеэстетических взглядов, не допускающих, как вполне очевидно, надменного отвержения «мнения народного».

И все же... Разве художественное произведение не самодостаточно? Ведь необходимость широкого контекста для вразумительного толкования смысла произведения рождает невольное сомнение в его совершенстве. Да и так ли обязательно для поэта в каждом своем стихотворении быть в согласии с самим собой? В конце концов, и пушкинская муза, подобно некрасовской, могла в одночасье издать «неверный звук».

Чтобы понять художественный текст непредвзято, необходимо прежде всего обнаружить в нем точку зрения автора. *Точку зрения* — в самом прямом смысле этих слов.

Вот как привык воспринимать Пушкин памятник еще в лицейские годы, в «Воспоминаниях в Царском Селе»:

Он видит: окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширясь крылами,
Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
Кругом подножия, шума, валы седые
В блестящей пене улеглись.

Сначала взгляд поэта фиксирует картину в целом, но потом членит ее, перемещаясь сверху вниз. Внешне это чисто пространственная вертикаль. На самом деле в ней — в данном случае аллегорически — воплощено историческое время, свершение. Ведь царскосельская Чесменская колонна — это памятник победоносному сражению на море. Но причинная связь событий (вместе с пространственно-временной) предстает в данной строфе в необычном ракурсе, тоже по вертикали, сверху вниз: победа («орел молодой») — бой («стрелы громовые») — возвратившееся в первоначальное, спокойное состояние море («валы (...) улеглись»).

В сущности тот же ход — из будущего в настоящее — предпринят и в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Здесь вовсе нет «двух взглядов» (которые в произведении подозревали В. С. Соловьев и М. О. Гершензон), взгляд один, но оттуда — сюда. Следствие здесь утверждено изначально, и лишь потом излагаются причины (на границах

первых четырех строф — в подтексте — «ибо», перед последней строфой — «и потому»). Для того чтобы восстановить более привычную и обыденную, прямую хронологически-причинную перспективу, стихотворение можно прочесть в обратном порядке строф. Но стоит проделать этот опыт, как станет понятно, что в таком случае оно превратилось бы во вполне логичное самооправдание. Это не для Пушкина, обладавшего воистину пророческим даром. Будущее для него — уже обжитая реальность, на своих современников он может взглянуть оттуда:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Известно недоуменное восклицание П. А. Вяземского: «А чем же писал он стихи свои, как не руками? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта». Но такое толкование также идет мимо смысла пушкинского стихотворения. В стихотворении утверждается личное бессмертие, та духовная (вполне реальная) ипостась личности, выраженная в слове, которая воспринимается как откровение ближними и дальними. Примерно о том же говорил А. С. Грибоедов: «В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся нередко одним намеком, — но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для этого с обеих сторон требуется: с одной — дар, искусство; с другой — восприимчивость, внимание». Не просто о «благодарной памяти» говорит и Пушкин, а о памяти-действии, о возрождении своих чувств и мыслей в каждом новом поколении. Если это не бессмертие, то что такое бессмертие?

Нет, конечно, никакого противоречия между второй и четвертой строфами стихотворения, если учесть огромную временную дистанцию между ними. В жестокий век, естественно, будет более понятен (и нужен) этический смысл поэзии. Но чувства добрые, ею возбужденные и укрепленные, в конце концов восторжествуют. Заметим, как в третьей строфе од-

ним штрихом — по контрасту с нынешним — намечен иной исторический период: «ныне дикий» — т. е. речь идет уже о времени просвещенном. Но и тогда поэзия не отомрет — наоборот, проявится ее высшая, собственно эстетическая ценность.





«Драгоценная для потомства...»

Пушкин любил работать в больших тетрадях. Здесь был необходимый простор для его замыслов и можно было свободно переходить от одного произведения к другому, возвращаться вновь и вновь к строкам, перечеркнутым и без того уже много раз. Порой сюда попадал черновик письма, над которым нужно было хорошенько подумать и вообще оставить на память. Когда работа не шла, на странице начинали тесниться рисунки, нередко возникали целые графические сюиты, подчиненные ритму причудливых ассоциаций. Когда совершалось какое-нибудь знаменательное событие, дата его заносилась в рабочую тетрадь — рядом подчас оставлялась краткая помета, до конца понятная одному Пушкину.

Но иногда кажется: нет ничего доверительнее пушкинского автографа. Здесь не только запечатлены поиски самого точного слова, но и сохранено то особое состояние, когда поэт

оставался наедине с самим собою и был предельно откровенен.

«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначущие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов...»

Эти слова Пушкина невольно вспоминаются при каждом обращении к его собственным рукописям.

Конечно, творения писателя живут прежде всего в его книгах. Произведения, написанные начерно, еще далеко не во всем совершенны, да и в перечеркнутых, дописанных и исправленных строках под силу разобраться только специалистам — порой после многих и многих усилий.

И все же нет выше очарования, нежели знакомиться с поэтом по его рукописям. Именно в них он предстает не застывшим на века, а в трудах и надеждах, еще не отлакированным хрестоматийным глянцем. И кажется, мы слышим живой его голос, голоса его героев...

Особенно если это рукописи Пушкина...

Представим себе, что у нас перед глазами тетрадь, хранящаяся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН под обязательным, казенным

архивным номером: фонд 244, опись 1-я, единица хранения 835.

Бережно и осторожно, как и полагается при работе с архивными документами, откроем тетрадь...

«Почтенный Александр Иванович. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, вправе ли я отозваться на предписание его сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и принимаю смелость объясниться откровенно насчет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль частной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои

утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях...»

Так писал А. С. Пушкин в Одессе 22 мая 1824 года правителю канцелярии новороссийского генерал-губернатора Александру Ивановичу Казначееву в ответ на предписание графа Воронцова выехать в уезды для собирания сведений о саранче. Приказ этот был откровенной издевкой над ссыльным поэтом, слава которого по всей России росла не по дням, а по часам. Граф Воронцов решил наконец одернуть непочтительного молодого человека — «поставить на место», определенное российской Табелью о рангах. Для генерал-губернатора Пушкин был не более чем коллежским секретарем, который баловался стихами, пренебрегал службой и вел себя не по чину независимо...

Письмо, которое — Пушкин был уверен в этом! — будет доведено до сведения графа Воронцова, надлежало тщательно обдумать. Но его следовало и сохранить для себя, так как здесь излагалась, по сути дела, продуманная программа поэта, осмелившегося первым в России заявить о своем литературном творчестве как о профессии, избранной на всю жизнь. Черновик письма поэтому записан не на отдельном листке, который мог и затеряться, а в рабочей тетради.

За семь лет до того, в 1817 году, Пушкин задумал издать первое собрание своих стихо-

творений. Тогда и была заведена им рукописная тетрадь, в которой друзья-лицейсты с отдельных листков и из лицейских журналов переписали сорок одно пушкинское стихотворение. Издание не состоялось, и потому впоследствии Пушкин продолжил в этой тетради свои записи, а также подверг неоднократной правке юношеские произведения. Но с той поры у него выработалась привычка — работать над своими сочинениями по большей части в тетрадях.

Позднее, предполагая в седьмой главе романа «Евгений Онегин» поместить альбом героя, Пушкин скажет так:

Опрятно по краям окован
Позолоченным серебром,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятого маранья
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена
Да буквы, тайны письма,
Отрывки, письма черновые,
И словом, искренний журнал,
В который душу изливал
Онегин в дни свои младые...

Конечно, большинство «альбомов» Пушкина были вовсе не роскошны на вид, а главное — не просто «хранили мысли, замечанья», а представляли собою поистине творческую лабораторию поэта. Но в то же время несомненно: описывая альбом Онегина, Пушкин имел в виду прежде всего свои рабочие тетради.

Всего до нас дошло восемнадцать пушкинских тетрадей. Разумеется, множество, даже большинство его автографов выполнены и на отдельных листах — и все-таки они исключение из правила, хотя — как и все в творчестве Пушкина — также по-своему знаменательны.

Скажем, сохранилось более трехсот отдельных листов болдинских рукописей Пушкина 1830 года. Ни одно из произведений того времени не записано было в рабочих тетрадях. Почему? Кажется, нетрудно понять это. Вспомним, что в Болдино поэт отправился для устройства хозяйственных дел, в связи с предстоящей женитьбой, наверняка не намереваясь задерживаться там надолго, и потому творческих рукописей с собой попросту не взял. Однако неожиданно застигнутый разбушевавшейся вокруг холерой, тщетно попытавшись дважды прорваться сквозь карантинные заграждения, Пушкин прожил в деревне три месяца и за это время создал целую библиотеку произведений. Так житейские, прозаические обстоятельства предопределили чудо болдинского вдохновения. Конечно, замыслы большинства этих произведений накапливались издавна и только ждали своего часа. И все же, удивительная деталь: ни листочка с этими прежними заготовками Пушкин не привез с собой — все хранилось в его памяти.

Спустя три года, отправляясь в долгую поездку на Урал для сбора материалов к «Истории Пугачева» и роману о дворянине-пуга-

чевце, заранее планируя на обратном пути остановку в Болдине, Пушкин возьмет теперь с собой сразу восемь рабочих тетрадей. И предчувствие нового творческого изобилия не обманет его: болдинская земля и в 1833 году одарит вновь его счастливым вдохновением.

Тетрадь, в которой он писал письмо Казначееву, была уже седьмой в его жизни. Большая, в лист, в солидном кожаном переплете, она попала к Пушкину довольно необычным путем.

В 1822 году, когда по распоряжению правительства по всей России были закрыты масонские ложи, кишиневский приятель поэта Николай Степанович Алексеев, казначей ложи «Овидий», отдал Пушкину три тетради, предназначенные для бухгалтерских записей. В одной из них поэт начал работать еще в Кишиневе — в ней были записаны первые онегинские главы. Теперь, в Одессе, пришла очередь и второй масонской тетради.

Впрочем, начал ее заполнение Пушкин вовсе не черновиком письма к Казначееву — оно было записано хотя и на первом листе, но явно задним числом. Как правило, Пушкин обращался к новым тетрадям, имея в виду какой-либо новый крупный замысел. Так обстояло дело и на этот раз.

В марте 1824 года на третьем листе тетради Пушкин начал переписывать из предыдущей — новый эпизод поэмы «Цыганы» (два листа были оставлены пробельными — вероятно, с той

целью, чтобы впоследствии на них переписать начало поэмы).

Алеко появлялся в цыганском таборе.

— Веду я гостя — за курганом
Его в пустыне я нашла
И в наше племя зазвала.
Он хочет быть, как мы, цыганом,
Ему по нраву наш закон,
И я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду...

Как это обычно случалось, уже в конце страницы белой автограф начал пестреть поправками, а на обороте и вовсе переходил в черновик, и здесь Пушкин на время остывает к своему замыслу. На левом свободном поле он тщательно прорисовывает профиль какого-то своего знакомого — с усами, бакенбардами и щегольской бородкой, а далее увлекается сложными числовыми выкладками. По всей вероятности, это подсчет долгов, который поэт производит в связи с получением из Москвы от Петра Андреевича Вяземского части гонорара за вышедшую из печати поэму «Бахчисарайский фонтан».

8 марта 1824 года он писал Вяземскому: «От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец, за неожиданное послание или посылку. Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого. Одно меня затрудняет, ты продал все издание за 3000 рублей, а сколько ж стоило тебе его напечатать? Ты все-таки даришь меня, бес-

совестный! Ради Христа, вычти из остальных денег, что тебе следует, да пришли их сюда. Расти им незачем. А у меня им не залежаться, хоть я, право, не мот. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо, я не принадлежу к нашим писателям 18-го века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола».

Гонорар, вырученный за поэму, был по тем временам необычайно велик. Газета «Русский Инвалид» уведомляла читателей: «Московские книгопродавцы купили новую поэму „Бахчисарайский фонтан“, сочинение А. С. Пушкина, за 3000 рублей. Итак, за каждый стих заплачено по пяти рублей. Довказательство, что не в одной Англии и не одни англичане щедрою рукою платят за изящные произведения поэзии».

Полученные от Вяземского деньги позволили Пушкину не только расплатиться с первоочередными долгами, неизбежными при его скудном жаловании, но и предпринять поездку в Кишинев, куда его пригласил Филипп Филиппович Вигель. В дорогу Пушкин взял с собою вновь заведенную рабочую тетрадь, намереваясь продолжить работу над поэмой в Кишиневе — там, где таились ее истоки.

Однако в Молдавии поэма не пошла. Зато совершенно неожиданно явилась мысль о продолжении романа «Евгений Онегин», который к этому времени был доведен до первых строф третьей главы — до встречи Евгения и Татьяны.

Оставив после фрагмента из «Цыган» пробельным один лист, Пушкин торопливо набрасывает программу — краткий конспект письма, которое должна написать героиня Онегину: «У меня нет никого... Я знаю, что вы презираете и пр. Я долго хотела молчать — я думала, что вас увижу, я ничего не хочу, я хочу вас видеть — у меня нет никого. Придите, вы должны быть то и то. Если нет, меня Бог обманул — но, перечитывая письмо, я силы не имею подписать — отгадайте, я же...»

Только после этого на смежной странице, — торопясь, едва дописывая слова и тут же вновь и вновь перечеркивая их, перебирая все новые и новые варианты, — Пушкин пишет сначала строфу, предшествующую письму героини, а после и само письмо:

Я к вам пишу — чего ж вам боле,
Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Предвижу мой конец недалный,
Но вы к судьбе моей печальной
Хоть каплю жалости храня,
Вы не покинете меня...

В Кишиневе письмо Татьяны было дописано почти до конца. Однако, возвратившись в Одессу и попытавшись завершить его, Пушкин никак не может сосредоточиться и вычеркивает одну за другой появляющиеся из-под пера строки:

Я забываюсь — жар волнует
Во мне и мысль... кровь...

Душа... тоскует...
Быть может, нам совсем иное
Судьбою в жизни...

Здесь возникает характерное для Пушкина состояние, когда не поддающееся немедленному решению развитие замысла, порождает раздумья и уводит его мысль по прихотливым ходам неожиданных ассоциаций. Страница покрывается рисунками. Один за другим набрасываются три автопортрета. Но что это? Пушкин изображает себя в костюме и с прической — эпохи Великой французской революции XVIII века. Здесь же — изображение посмертной маски Наполеона. А ниже во весь рост рисуется нескладная фигура человека в кургузом фраке и с кием, толкающего шар в центр бильярдного поля. Лицо этого человека, сильно шаржированное (великолепен вытянутый нос, нацеленный на кончик кия!) нам будто бы знакомо... Ну конечно же, это Кюхля — Вильгельм Кюхельбекер, восторженный поэт и пылкий мечтатель, постоянная мишень для шуток его лицейских приятелей.

Параллельно направлению кия, наискось листа, залезая на изображение края бильярдного стола, Пушкин пишет незаконченную строку:

Всех царств и всех...

Кажется, мы можем понять ход мысли поэта. Воспоминание о друге вызывало в памяти «младые лета». В начале 1815 года в Лицее со-

стоялся переходной экзамен, на котором заранее ожидалось присутствие первого российского пиита, Гаврилы Романовича Державина. Пушкину было поручено написать к экзамену стихи. Это были знаменитые «Воспоминания в Царском Селе», где наряду с картинами прошлого был отклик на грозные современные события. Только что закончилась война с Наполеоном, и вполне естественно упоминание о нем в стихотворении Пушкина:

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечем низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

Готовил к экзамену свои стихи и Вильгельм, столь же торжественно-державинские, названные «Бессмертие есть цель жизни человеческой». И в них были строки, посвященные Наполеону:

Как море злѣ волнуется повсюду!
Венцов и скипетров на груди
Воздвигнул изверг свой престол, —
И кровью наводнил и град, и лес, и дол,
И области покрыв отчаянья туманом!
Герой, невинных щит, гоним, по́вергнут в прах,
Неблагодарности, неистовства в ногах
Его безглавый труп терзаем хищным враном;
С сверкающим мечем на брата брат восстал,
И на родителя десницу сын подъял.
О небо! где ж перун, злодеям мститель?
Всевышний судия! почто твой глас утих?
Иль нет тебя, каратель злых,
И случай нам властитель?

Для воспоминаний о падении Наполеона у Пушкина сейчас, по приезде в Одессу, был свой повод. Его память цепко хранила даты важнейших событий современности. Некоторые из них он прямо помечал в своих рукописях — так на обложке нашей тетради позже будет отмечена дата смерти Байрона: 19 апреля 1824 года. Несомненно помнил он с юношеских лет и роковой для Наполеона день.

Пушкин возвратился из Кишинева в последних числах марта 1824 года. В это время, а именно 28 марта 1824 года исполнилось десять лет со дня отречения Наполеона от престола. Поэтому не случайно, едва начав в Одессе работать над концовкой письма Татьяны, Пушкин вспоминает события французской революции — вообразая себя их современником. И тут же, перевернув лист в рабочей тетради, записывает по памяти стихотворение Жуковского, когда-то напечатанное в журнале «Сын отечества» под названием «Стихи, петье на празднестве английского посла лорда Каткарта... 28 марта 1816 года, в годовщину (т. е. во вторую годовщину. — С. Ф.) отречения Наполеона от престола»:

Сей день есть день суда и мщенья
Сей грозный день земле явил
Непобедимость провиденья
И силу гордых сокрушил...

Лишь после этого Пушкин вновь возвратился к той странице, где писал письмо Татья-

ны, и на свободном поле листа, рядом с автопортретами и фигурой Кюхельбекера начал писать свое стихотворение, посвященное Наполеону:

Зачем ты послан был и кто тебя послал?
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал
Земли чудесный посетитель?

Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустыли алтари,
Свободы буря подымалась.
И вдруг нагрянула... Упали в прах и в кровь,
Разбились ветхие скрижали,
Явился муж судьбы, рабы затихли вновь,
Мечи да цепи зазвучали.

И горд и наг пришел Разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть отечества забыли,
За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло — все стало тенью,
Все было предано презренью,
Как ветру предан дольний прах...

Стихотворение не было окончено, и его соседство с онегинскими строками кажется совершенно случайным. Но только кажется. Не включая прямо в ткань первых онегинских глав историко-публицистические рассуждения, Пушкин постоянно рядом с текстом романа набрасывает строки, посвященные бур-

ным событиям своего времени. События эти не прошли бесследно — ни для него, ни для его героев. Недаром во второй главе романа, характеризуя современные нравы, Пушкин скажет:

Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами себя.
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно...

И потому так дорога поэту его героиня, доверяющая своему сердцу. Оберегая ее искреннее чувство, поэт спешит защитить Татьяну от скептического читателя, которому «чувство дико и смешно», — предваряя ее письмо взволнованными строками:

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Письмо Татьяны было написано Пушкиным тогда, когда третья глава была едва-едва начата, и потому, возвратившись из Кишинева в Одессу, Пушкин редко обращается к нашей тетради, работая в другой, — над строфами, предшествующими письму.

В мае 1824 года начались нелады с графом Воронцовым. Вслед за первым посланием к Казначееву, о котором уже шла речь, поэт пишет второе письмо, требуя отставки и не подозревая, что судьба его уже предрешена. Перехватив записку Пушкина, где он непочтительно отзывался о религиозных догматах, граф Воронцов переслал ее в Петербург, требуя строго наказать вольнодумца. Решение правительства не замедлило себя ждать: 11 июля 1824 года министр иностранных дел граф Нессельроде сообщал графу Воронцову: «Я подавал на рассмотрение императора письма, которые ваше сиятельство прислали мне, по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его величество вполне согласился с вашим предложением об удалении его из Одессы (...) он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественном поприще (...) император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства. Ваше сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами».

Незадолго до отъезда из Одессы Пушкин скажет, обращаясь к морю:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой
.
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Стихотворение будет переписано набело в рабочую тетрадь уже в Михайловском, в один из сентябрьских дней.

1 августа 1824 года Вера Федоровна Вяземская писала своему мужу из Одессы: «Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Ничего не говори об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны...»

Речь и в стихотворении Пушкина, и в письме Вяземской идет о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, жене одесского начальника и гонителя поэта.

В Михайловское, которое отныне стало местом новой ссылки, поэт прибыл 9 августа 1824 года. Радость от встречи с родными ожила ненадолго. На душе по-прежнему было муторно.

«Довольно любопытно, — вспоминала сестра поэта, — что Пушкин носил перстень из корналина (точнее, перстень с сердоликом. — С. Ф.) с восточными буквами, называя его талисманом, и что точно таким же перстнем запечатаны были письма, которые он получал из Одессы, — которые читал с торжественностью, запершись в кабинете. Одно из таких писем он сжег...».

На самом деле от Елизаветы Ксаверьевны в Михайловском Пушкин получил, по всей вероятности, лишь одно письмо, но действительно тисненное печаткой на перстне.

Об этом перстне не раз писал сам поэт, и особенно часто впоследствии — его биографы. Первый же отзыв воспоминаний о «талисмане» сохранился в «Евгении Онегине». Сразу же вслед за пометой о письме от графини Воронцовой Пушкин напишет в следующей онегинской строфе:

Она зари не замечает,
Сидит с поникшей головой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной...

(сначала было: «И на письмо не опирает Сердблицовую печать...»).

Строки эти записаны на обороте листа 11, следующая же страница (л. 12) заполнялась в три приема. Сначала (вскоре после 5 сентября — может быть, на другой день) здесь чернилами записана строфа «Ах, няня! сделай одолженье». Нижняя половина страницы осталась тогда незаполненной, так как на обороте ее, отвлекшись от онегинского замысла, Пушкин начал перебеливать стихотворение «Морю».

Второй раз к листу 12 он обратился по крайней мере месяцу спустя. Теперь тут карандашом дописывается строфа «Как недогадлива ты, няня...» Карандашом же тогда дважды рисуется женская фигура в рост со спины и фигура сидящей женщины — внизу страницы. Предполагают, что это изображение Е. К. Воронцовой.

Может быть, к этому времени уже была вчерне написана одна из самых пронзительных пушкинских элегий:

Продай, письмо любви, продай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утрата впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулись листы;

На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

Черновик стихотворения до нас не дошел. Набело же элегия была переписана в рабочую тетрадь в самые последние дни 1824 года.

Что было в этом таинственном письме? Думается, что об этом можно догадаться...

В третий раз Пушкин обратился к листу 12 рабочей тетради значительно позже. Поверх написанной карандашом XXXV строфы («Как недогадлива ты, няня») он набрасывает чернилами строфу XXV:

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она — отложим!
Любви мы цену тем умножим,
Мужчину в сети заведем,
Сперва тщеславием кольнем —
Надеждой, там недоуменьем
И сердце слабое потом
Ревнивым утомим огнем,
А то, скучая наслаждением,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

Под этими строками Пушкин выводит три большие печатные буквы:

П О У.

По аналогии с французскими буквами на предыдущей странице аббревиатура уверенно расшифровывается как «Письмо от Уоронцово́й». На первый взгляд, это необычное начертание фамилии. Но оно встречается у Пушкина. В письме к одесскому приятелю, отправленному в начале декабря 1824 года, читаем: «Вот уже четыре месяца, как я нахожусь в глухой деревне — скучно, да делать нечего; здесь нет ни моря, ни неба полудни, ни итальянской оперы. Но зато нет — ни саранчи, ни милордов Уоронцовых...»

Ясно, что в данном случае поэт иронически «произносит» фамилию англомана графа Воронцова «на английский манер». Казалось бы, подобная ирония невозможна в устах Пушкина по отношению к любимой женщине.

Однако важно понять, когда была написана XXV строфа. Она возникла после того, как был изготовлен беловой автограф третьей главы (т. е. не раньше середины 1825 года), так как в беловом автографе этой строфы еще не было. Очевидно, готовя главу к печати, уже в 1827 году, Пушкин заново просматривал черновики и развернув тетрадь на л. 12, где была нарисована Воронцова, мысленно возвратился к письму от нее, о котором наминала смежная страница, и по-новому, уже трезвым взглядом, оценил это письмо. К этому времени ему, наверное, стало понятно то, о чем еще в Одессе догадывалась проницательная В. Ф. Вяземская: «Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны».

Письмо было сожжено поэтом. Но о содержании его мы можем судить по позднейшей пушкинской оценке: «Кокетка судит хладнокровно...» и пр. Контраст между письмами простодушной Татьяны и светской дамы, графини Воронцовой, слегка (словно невольно!) намеченный еще в сентябре 1824 года («И на письмо не опирает Сердбаликовую печать...»), — теперь становится разительным.

Впоследствии, вспоминая первые дни Михайловской ссылки, отчаянье и боль несправедливого гоненья, Пушкин скажет просто и точно, что в эти дни его спасла Поэзия. Действительно, последние месяцы 1824 года были, по сути дела, первой по-пушкински богатой осенью.

2 октября закончена третья глава «Евгения Онегина» и тут же начата четвертая глава.

10 октября закончена поэма «Цыганы».

К ноябрю месяцу была написана большая часть цикла «Подражания Корану», закончена в первой редакции поэма «Клеопатра», начата баллада «Жених», создано несколько лирических шедевров, начаты автобиографические записки.

В те же дни он готовил к печати первую главу «Онегина» и сборник своих стихотворений.

А между тем и в Михайловском жизнь вовсе не баловала поэта. Он приехал туда, застав в сборе все семейство. Радость встречи была, однако, вскоре омрачена тягчайшей размолвкой с отцом, о которой Пушкин на-

пишет 31 октября в отчаянном письме к Жуковскому, черновик которого помещен между «Подражаниями Корану», повествующими о судьбе пророка, не признанного в своем отечестве: «Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я встречен как нельзя лучше, но скоро все переменялось: отец, испуганный моею ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь! Пещуров (уездный предводитель дворянства), назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться с этим чудовищем, с этим выродком-сыном... (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для

меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня...»

На этот раз дело, однако, обошлось.

В первой половине ноября усадьба опустела: родные перебрались на зиму в Петербург. Единственной собеседницей поэта в Михайловском осталась няня, Арина Родионовна.

В письме к брату поэт напишет в эти дни: «Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! Ах! Боже мой, чуть не забыл! вот тебе задача: историческое сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории...»

Два года спустя, в Михайловском, Пушкин действительно напишет «Песни о Стеньке Разине». Теперь же, в декабре, он делает в рабочей тетради выписки из X и XI томов «Истории государства Российского» Карамзина об убийстве царевича Димитрия — и набрасывает план трагедии о Борисе Годунове.

Сразу же вслед за планом в рабочей тетради пишется первая сцена трагедии, а вслед за ней, прежде чем перейти к следующим сценам, возникает воображаемый разговор с Александром I: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: „Алек-

сандр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи”. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал...»

Разговор, как предвидит поэт, кончается для него плачевно: «Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму „Ермак” или „Кучум”, разными размерами с рифмами».

В эти дни Пушкин пишет XXIII строфу четвертой главы романа «Евгений Онегин», которая кончалась следующими строками:

Так одевает бури тень
Едва-едва блеснувший день.

Под строфой Пушкин, по обыкновению отмечая в рабочей тетради наступление нового года, ставит две даты: «1 Генваря 1825-го—31 декабря 1824-го».

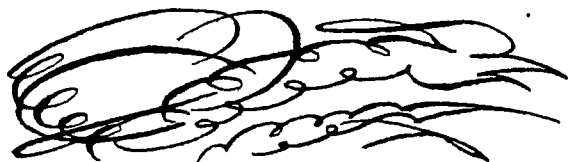
И кажется, что Пушкин обостренным чувством поэта уже ощущает «бури тень», надвигающуюся на год 1825-й, который так много будет значить в истории России, в судьбах ближайших друзей поэта и самого Пушкина.

Но даль свободного романа по-прежнему манит его.

Еще предстоит дописать в Михайловском трагедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве, завершить автобиографические записки. А в воображении уже теснятся новые замыслы. Тетрадь заполнена едва наполовину, и еще будут записаны в ней пророческие строки:

...Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой список верный,
И долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь...





«Даль свободного романа»

Последняя дата в рукописи романа «Евгений Онегин» — «5 октября 1831 г.». Так случилось, что многолетний труд был окончен в поэтическом отечестве Пушкина, в Царском Селе. К своей юности поэт обращался в начале последней главы романа:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне...

С молодой женой Пушкин поселился летом на даче Китаевой, около парка, недалеко от Лицея. Едва ли не впервые после тех дальних, лицейских лет он почувствовал себя по-настоящему счастливым. Внове была не толь-

ко семейная жизнь, внове было ощущение зрелости и чувств, и мыслей, спокойной умиротворенности, твердой уверенности в себе. И этого не могли смутить ни отзвуки бурных европейских событий, ни бушевавшая в двадцати верстах холера, ни журнальная брань по поводу трагедии «Борис Годунов», ни денежные хлопоты. Не то чтобы Пушкин ничего не замечал вокруг — нет, он не потерял жадного интереса к жизни, но ее большие и малые происшествия не сбивали с толку, не захлестывали суетой.

В июле, получив от Плетнева известие о смерти их общего знакомого, Молчанова, Пушкин напишет: «Письмо твое от 19-го крепко меня печалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчишки станут повесничать, а девочки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Тем же ощущением постоянного возрождения жизни пронизан роман Пушкина. Все, что происходит здесь, все, о чем вспоминает и размышляет автор, — все в итоге измеряется тем же масштабом вечности. Жизнь человеческая

конечна, но иначе она и не была бы дорога, иначе каждый миг ее не был бы столь важен. Нелепа ранняя смерть, но разве не преступно преждевременное омертвление, сплин, убивающий душу, безразличие к жизни, когда она еще блещет всеми красками, когда она — вокруг и в тебе самом.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осени гнилой...

Наступил октябрь. В царскосельских парках ветер срывал с деревьев последние листья. Однако по-прежнему день Пушкина начинался с ледяной ванны. Потом он поднимался в кабинет и принимался за работу.

На днях через фрейлину Александру Осиповну Россет, приятельницу поэта, император Николай I возвратил рукопись последних глав «Евгения Онегина», переданную ему приватно. Роман предстояло завершить как-то иначе: восьмая, предпоследняя глава высочайшего одобрения не получила. «Черноокая Россети», большая умница и великий политик, убеждала Пушкина пожертвовать опальной главой.

«Пропущенные строфы, — впоследствии известит Пушкин читателей, — подавали неоднократно повод к порицаниям и насмешкам

(впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в которой было описано путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить вместо девятого нумера осьмой под последней лавой „Евгения Онегина” и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти каменам,
и проч.».

Возможно, эта строфа и не была дописана до конца: в черновых рукописях она не сохранилась. Однако в двух стихотворных строчках, которыми кончалась публикация последней главы романа, поэтически обозначены две силы, под знаком которых складывалась судьба самого поэта и создавалось самое задушевное дитя его фантазии, роман «Евгений Онегин», — ему было отдано тоже почти девять лет. «Девятый вал», по поверью, это наибольшая, роковая волна. В поэтическом словаре Пушкина — это образ враждебных человеку сил, и даже конкретнее — образ самовластья, весь гнет которого Пушкин испытал в полной мере, вкупе с другими вольнолюбцами своего времени. Девять камен, или девять муз, — это святое искусство, не подвластное року.

В сущности о том же размышлял поэт в начальных строфах последней главы, в благодарном посвящении многолетнего труда — своей музе:

Но Рок мне бросил взоры гнева
И вдаль унес. — Она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала час ночной
Волшебством долгого рассказа...

«Долгий рассказ» был начат еще в Кишиневе в 1823 году. В начале этого года ссыльный поэт обратился с официальным отношением к графу Нессельроде, министру иностранных дел, по ведомству которого он числился со времени окончания Лицея: «Граф. Будучи причислен по повелению его величества к его превосходительству бессарабскому генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда меня призывают дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца...»

Через три месяца пришел ответ: категорический отказ.

Душу захлестнула обида. Власти запрещают встретиться с родными, с друзьями? Запрещают появиться там, где вышли в свет вот уже две его поэмы: «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник»? Где все до одного столичные журналы откликнулись на них, хваля и ругая. Это уже было похоже на славу. Вязем-

ский писал в «Сыне отечества»: «Характер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что он не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дорисован; впрочем, достоинство его не умаляется от некоторого сходства с героем Байрона (...) подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества. Переизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовлетворяться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность, пожирающая, не прикладываемая к существенному; упования, никогда не свершаемые и вечно возникающие с новым стремлением, должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Чайльд-Гарольда, Кавказского Пленника и им подобных. Впрочем, повторяем: сей характер (...) у нашего Поэта (...) только слегка означен; мы почти должны угадывать намерение Автора и мысленно пополнять недоконченное в его творении...» Князь Вяземский знал, о чем писал. Критика на «Пленника» звучала исповедью собственного сердца. И Пушкину были близки подобные откровения.

Две первоначальные даты творческой истории «Евгения Онегина» мы находим в рабочей тетради Пушкина, перед первой главой романа:

«9 мая

28 мая ночью»

Анализ черновика не оставляет сомнений в том, что первая строфа произведения начата, без всяких предварительных набросков, именно 28 мая. Но что значит поставленная поэтом чуть выше, себе на память, первая дата? Для Пушкина она представлялась принципиально важной: он твердо помнит ее спустя много лет в Болдине, подсчитывая, сколько времени заняла работа над романом:

«1823 год 9 мая Кишинев — 1830 25 сент.
Болдино.
26 сент. АП(ушкин)
„И жить торопится и чувствовать спешит”
К(нязь) В(яземский)
7 ле(т) 4 ме(сяца) 17 д(ней)»

Во-первых, попытаемся понять, почему спустя семь с лишним лет Пушкин отлично помнит о 9 мая, хотя в то время у него, как очевидно, не было в Болдине под рукой рабочей тетради с данной пометой. По старому календарю — это день праздничный, так называемый Николин день (Никола летний). К тому же именно с этого дня Пушкин отсчитывал время своей шестилетней ссылки. Под датой «9 мая 1821 г.» в пушкинском кишиневском дневнике мы находим следующую запись; «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург». Потому, оказывается, в памяти Пушкина прочно осела дата «9 мая».

В чем же ее «онегинское значение»?

Ответ на этот вопрос, кажется, может дать написанное спустя несколько дней письмо Пушкина к Гнедичу:

«Благодарю вас, любезный и почтенный, за то, что вспомнили вы бессарабского пустычника. Он молчит, боясь надоедать тем, которых любит, но очень рад случаю поговорить с вами об чем бы то ни было.

Если можно приступить ко второму изданию „Руслана” и „Пленника”, то всего бы короче для меня положиться на вашу дружбу, опытность и попечение; но ваши предложения останавливают меня по многим причинам.

1) Уверены ли вы, что цензура, поневоле пропустившая в 1-ый раз „Руслана”, нынче не опомнится и не заградит пути второму его пришествию? Заменять же прежнее новым в ее угоду я не в силах и не намерен. 2) Согласен с вами, что предисловие есть пустословие довольно скучное, но мне никак нельзя согласиться на присовокупление новых бредней моих: они мною обещаны Якову Толстому и должны поступить в свет особливо. Правда, есть у меня готовая поэмка, да NB цензура. Tout bien vu,* не кончить ли все дело предисловием? Дайте попробовать, авось не наскучу. Я что-то в милости у русской публики.

Je n'ai pas mérité

Ni cet excès d'honneur ni cette indignité.**

* хорошенько все взвесив (фр.).

** Я не заслужил

Ни этой чрезмерной лести, ни этого оскорбления
(фр.).

· Как бы то ни было, воспользуюсь своим случаем, говоря ей правду неучтивую, но, может быть, полезную. Я очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой публики. Есть у нас люди, которые выше ее; этих она недостойна чувствовать; другие ей по плечу; этих она любит и почитает. Помню, что Хмельницкий читал однажды мне своего „Нерешительного“; услыша стих „И должно честь отдать, что немцы аккуратны“, я сказал ему: вспомните мое слово, при этом стихе всё захолопает и захохочет. — А что тут острого, смешного? очень желал бы знать, сбылось ли мое предсказание.

Вы, коего гений и труды слишком высоки для этой детской публики, что вы делаете, что делает Гомер? Давно не читал я ничего прекрасного. Кюхельбекер пишет мне четырехстопными стихами, что он был в Германии, в Париже, на Кавказе и что он падал с лошади. Все это кстати о „Кавказском пленнике“. От брата давно не получал известия, о Дельвиге и Баратынском также — но я люблю их и ленивых. Vale, sed delenda est censura.*

13 мая. Кишинев.

Пушкин».

Таков единственный пушкинский документ, характеризующий его настроение и мысли в промежутке между двумя начальными датами «Евгения Онегина», 9 и 28 мая 1823 года.

* Прощайте, — цензуру же надо уничтожить (лат.); ср.: «В конце письма поставить Vale».

В этом письме выделяется ряд «онегинских предвестий» разного масштаба.

Защищая своего героя от недоброжелательного читателя, Пушкин скажет в последней главе романа:

Зачем же так неблагоклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то, что мы неутомонно
Хлопочем, судим обо всем.
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

(Ср. в письме: «Есть у нас люди, которые выше ее (публики. — С. Ф.); этих она недостойна чувствовать; другие ей по плечу; этих она любит и почитает»).

Письмо к Гнедичу в полной мере объясняет постоянные пушкинские опасения насчет неприемлемости для цензуры первой онегинской главы. Здесь вовсе не было политической сатиры, но она наполнена мотивами антиханжеской, легкой поэзии, подобно поэме «Руслан и Людмила». Недаром во второй строфе романа Пушкин обращается к читателям как к «друзьям Людмилы и Руслана», а в последней строфе первой главы вспоминает о цен-

зурных придираках («Цензуре долг свой заплачу»).

Проходное упоминание в письме к Гнедичу о Якове Толстом, председателе «Зеленой лампы», тоже ориентирует на текст первой главы. Давно замечено, что изображенный здесь в подробностях день светского столичного жителя восходит к пространному стихотворению Я. Н. Толстого «Послание к петербургскому жителю», иногда использованному Пушкиным почти цитатно.

Отразилась в первой главе ремарка Пушкина насчет «аккуратных немцев» в комедии Н. И. Хмельницкого «Нерешительный» — ср.:

И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

Отозвались в первой главе и стихи Гнедича: в примечаниях Пушкин дает пространную цитату из идиллии «Рыбаки», предваренную комплиментарным замечанием: «Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича» (в черновике еще сильнее: «блистательное описание»).

Резонирует в романе и стихотворение Кюхельбекера, о котором Пушкин вспоминает в письме к Гнедичу, — ср. у Кюхельбекера:

Мы оба бросили тот свет,
Где мы давно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Размучали обоих нас!..

Эта тема развита Пушкиным в строфе XLV:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время
.
Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоих нас,
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

В этом отношении необходимо вспомнить также отражение кюхельбекеровских черт в Ленском. Во всяком случае, читая предсмертную элегию Ленского, мы вправе вспомнить упоминаемое в письме к Гнедичу стихотворение Кюхельбекера:

И недалек, быть может, час
Когда при черном входе гроба
Иссякнет нашей жизни ключ;
Когда погаснет свет денницы,
Крылатый бледный блеск зарницы,
В осеннем небе хладный луч...

Такой многослойный пласт предонегинских мотивов и тем в письме Пушкина к Гнедичу от 13 мая 1823 года, пожалуй, не может быть случайным. Важны здесь и прямые, цитатные, переключки, и перспективные для романа конструктивные предвосхищения.

Таким образом, дата «9 мая 1823 года», от которой Пушкин впоследствии отсчитывал время своей работы над произведением, — это, по всей вероятности, день получения письма от Н. И. Гнедича.

Можно представить себе, насколько важно было для Пушкина в третью годовщину своего изгнания получить весточку из Петербурга, как много мыслей о былом, как правило, у Пушкина получавших творческое воплощение, могла возбудить она.* Отметим здесь еще один трогательный штрих: если письмо от Гнедича было действительно получено в «Николин день» (9 мая) — оно способствовало, несомненно, закреплению в памяти этой даты: ведь Гнедича звали Николаем.

Недаром, поэтому, завершая в Болдине работу над романом, начатую семь лет назад в Кишиневе, Пушкин прежде всего вспоминает о Гнедиче, создав в октябре—ноябре 1830 года ряд антологических эпиграмм, и среди них — «На перевод Илиады» и «Труд»:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик
ненужный,

Плату приявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Это стихотворение заставляет вспомнить онегинскую строфу

* Вероятно, Пушкин знал, что при первом слухе о грозящих Пушкину гонениях Гнедич был одним из самых пылких его защитников. Ф. И. Глинка вспомнил: «Между тем (...) разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич, с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах), бросился к Оленину...»

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

Именно от этой строфы в примечаниях к роману обозначена упомянутая отсылка к идиллии Гнедича.

Возможно, в эти дни в нижегородской деревеньке Пушкин вспоминал другую деревню, псковскую, а также события шестилетней давности.

1824 год подходил к концу. Выпал первый снег. Сороть прихватило прозрачным ледком. По ночам в пустых комнатах господского дома что-то шуршало и скрипело, за окнами выл ветер. Родные отбыли в столицу, а Пушкину предстояло встретить в деревне долгую зиму.

Петербург от псковской деревеньки отделяло всего два дня пути, но был он так же далек, как и раньше. С нетерпением более острым, нежели когда-нибудь, поэт ждал писем от петербургских друзей.

В начале ноября Петру Александровичу Плетневу была отправлена первая глава рома-

на «Евгений Онегин». «Беспечно и радостно, — писал Пушкин, — полагаюсь на тебя в отношении моего „Евгения Онегина“! — Созови мой Ареопаг; ты, Жуковский, Гнедич и Дельвиг — от вас ожидаю суда и с покорностью приму его решение...»

Намерение издать первую главу едва начатого романа было, конечно, дерзким. Поддразнивая будущего читателя, поэт чистосердечно признавался:

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все очень строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...

Еще не дождавшись суда «Ареопага», в ноябре 1824 года Пушкин посылает вдогонку рукописи намеченный им самим рисунок, на котором изображены Евгений Онегин и Поэт — на набережной Невы, на фоне Петропавловской крепости и судна под парусом, направляющегося к устью реки — к «Балтийским волнам».

«Брат, вот тебе картинка для „Онегина“, — пишет поэт, — найди искусный и быстрый карандаш.

Если и будет другая, так чтоб все в том же местоположении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно».

Картинка эта должна была иллюстрировать следующие строфы:

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,
Да дροжек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда начну я вольный бег?
Пора оставить скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вдыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил...

Строфы эти написаны в Одессе. Кишиневские же строфы «Онегина» вслед за авторским вопросом: «Но был ли счастлив наш Евгений?» — перебивались такими стихами:

Кто волны вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную и младость
Дремотой лени усыпил?
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разружьте гибельный оплот.
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Метафорический смысл этих строк очевиден: пора надежд и общественного оживления, вызванных победой над наполеоновским нашествием, сменилась годами реакции, деспотического гнета, преследования вольнолюбивых мечтаний. Дитя безвременья, Онегин с юных лет поражен болезнью, точный диагноз которой ставит в романе поэт:

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он среди пиров
Неосторожен и здоров?

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели...

.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче, русская хандра
Им овладела понемногу;

Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child Harold угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный —
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

Но диагноз болезни оказалось поставить легче, чем определить отчетливо свое отношение к скучающему страдальцу. Сначала поэт говорит о нем строго объективно. Постепенно все заметнее становится ироническая интонация повествования, а к иронии все настойчивее примешивается авторское сочувствие: поэт не может осуждать хандру своего героя. Для него важно «причины отыскать», важно понять, как время формирует человека, предопределяет его судьбу. Неотступно следуя по пятам Онегина, поэт присматривается не только к нему, но и к тому, что окружает героя, сравнивая с онегинскими — свои собственные впечатления.

Герой скучает в театре, а поэту памятно иное время:

Волшебный край! там в стары годы
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин...

Герой зевает, глядя на сцену, — а взор поэта устремляется к театральному подъезду,

где «усталые лакеи на шубах (...) спят», где «кучера вокруг огней бранят господ и бьют в ладони».

Герой дремлет в карете, а поэт видит трудовое утро столицы, неведомое и неинтересное Онегину.

Уже в первой главе, законченной в Одессе 22 октября 1823 года, из столицы действие перенесено в деревню, где герой по-прежнему скучает. И Пушкин тогда еще не мог предположить, что в деревенское заточение вослед своему герою (не по своей воле) он отправится спустя несколько месяцев. Но еще тогда Пушкин скажет:

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторил потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

И перечитывая эту строфу уже в Михайловском, в первые, самые горькие дни новой ссылки, Пушкин не вычеркнет этих строк, а дополнит их на той же странице рабочей тетради новой строфой:

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвящаясь невинным,
Брожу над озером пустынным...
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни...

...Первая глава вышла из печати в конце февраля 1825 года. 3 марта педантичный в делах Плетнев сообщал об успехе издания: «Нынешнее письмо будет рапортом, душа моя, об „Онегине” (...) Напечатано 2400 экземпляров. Условие заключил я со Слёниным, чтобы он сам продавал и от себя отдавал, кому хочет, на комиссию (...) 1-го марта, то есть через две недели по поступлении „Онегина” в печать, я уже не нашел у него в лавке 700 экземпляров...»

Продажа книги вскоре замедлится: тираж ее оказался слишком велик для читателей того времени. В журналах, как и ожидал поэт, наряду с комплиментами, появятся «кривые толки». Любопытно, что спротоцированные легкостью и свободой, с которыми поэт касался в романе всего на свете, рецензенты также не удержались от стихов — будто бы в тон автору «Евгения Онегина».

«Не согласимся, однако, с любезным Сочинителем, — восклицал в журнале «Благонамеренный» Александр Ефимович Измайлов, — будто вряд ли можно найти в России три пары стройных женских ног.

Ну как сказать он это мог?
Есть стройны ножки, не велики
У Евфросины, Милолики,
У Лидии, у Ангелики!

Вот я насчитал четыре пары.

А может быть, во всей России есть
По крайней мере пар пять, шесть!»

Князь Шаликов в «Дамском журнале» философствовал: «Ибо что есть женский пол, как не пиитическая половина рода человеческого? Самые недостатки их стихотворнее лицемерной добродетели, под личиною которой нередко муштина скрывает честолубие, корыстолубие, суемудрие и прочее и прочее.

Пусть же любезный поэт накажет неверную отказом в своих сочинениях и пишет для подруг ее, верных ее таланту!

Блажен, про женщин кто таил
Души высокие созданья,
А от муштин, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!»

Через пять лет Булгарин воспользуется тем же приемом, чтобы ошельмовать в «Северной пчеле» седьмую главу романа: «Серд-

ду больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину! — Читатели наши спросят: какое же содержание VII главы в 57 страничек? Стихи Онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос:

Ну, как развеять горе Тани?
Вот как: посадят деву в сани
И повезут от милых мест
В Москву на ярманку невест!
Мать плачется, скучает дочка:
Конец седьмой главе — и точка!»

Подобными нападками можно было бы и пренебречь. Но оказалось, что даже отклик дружественной критики на первую главу романа был настроенным и недоуменным.

Александр Бестужев писал поэту:
«Поговорим об Онегине...

Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде, — вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, — но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Байрона; он, не зная нашего Петербурга, описал его схоже (...) И как зла, как свежа его сатира!»

И Пушкин урезонивает в ответном письме непреклонного критика: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на „Онегина“ не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое {...} Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею и требуешь от меня таковой же! Нет, душа моя, многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и помину нет в „Евгении Онегине“. У меня затрещала бы набережная, если б коснулся я сатиры... Дождись других песен... Ах! если бы заманить тебя в Михайловское!.. 1-ая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мной случается). Сим заключаю полемикку нашу...»

Пушкину еще предстояло научить русского читателя реалистическому языку литературы: простоте вымысла, точности воспроизведения действительности, правде характеров и обстоятельств. В первой главе поэт сам учился этому языку. Роман в стихах стал спутником его на долгие годы, и, отдавшись безраздельно «дали свободного романа», поэт пылливо вглядывался в свое время, в зависимости от которого должны бы и так или иначе сложиться судьбы его героев, но которое уже не могло подавить самыми суровыми испытаниями самого поэта.

С самого начала в романе задан легкий тон непринужденной беседы с читателем:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я —
Но вреден север для меня...

Впрочем, в самом легком тоне повествования таился вызов враждебной судьбе, а в центральном характере романа — в пресыщенном и разочарованном Евгении Онегине — Пушкину важно было реализовать, представить вживе, без предубеждения, в кругу точных бытовых примет того «злобного гения», который исподволь проник в пушкинскую лирику, полнее всего воплотившись в стихотворении «Демон»:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд...

Современники поэта склонны были воспринимать это стихотворение как психологический портрет скептика и циника Александра Раевского, с которым Пушкин был в начале 1820-х годов очень близок. Но в какой-то мере это был и автопортрет, точнее же — отражение широко распространенного общественного настроения, болезненные симптомы которого Пушкин заметил в себе самом. Необходимо было подвергнуть их трезвому анализу, чтобы не поддаться хандре — «убивающей душу».

Несомненно, уже в самом начале работы у Пушкина был некий план, пока еще недостаточно отчетливый. Стендаль как-то сказал: «Роман — это зеркало, с которым я иду по большой дороге». То же самое мог сказать о своем романе и Пушкин.

Такое необычное в литературе пушкинского времени внимание к подробностям жизни позволило впоследствии Белинскому дать классическое определение романа «Евгений Онегин»: «энциклопедия русской жизни».

Но, прежде чем литературная критика возвысилась до такого понимания, «говорливость» Пушкина оценивалась, как правило, с той снисходительной похвалой, которая нам сейчас кажется совершенно невероятной. Так, в 1833 году по поводу первого полного издания романа журнал «Московский телеграф» писал: «Сколько наблюдений и заметок прелестных, сколько ума и остроты, сколько души и чувства на всех страницах „Онегина“! Но в подробностях все достоинство этого прихотливого создания. Спрашиваем: какая общая мысль остается в душе после „Онегина“? Никакой. Кто не скажет, что „Онегин“ изобилует красотами разнообразными; но все это в отрывках, в отдельных стихах, в эпизодах к чему-то, чего нет и не будет. Следственно, при создании „Онегина“ Поэт не имел никакой мысли; начавши писать, он не знал, чем кончить, и, оканчивая, мог писать еще столько глав, не вредя общности сочинения, потому что ее нет...»

Пушкину довелось услышать в связи с его романом и откровенную, грубую брань. Она, пожалуй, нам понятнее: зависть, журнальная конкуренция, литературное староверство, политический обскурантизм — все это не могло не прорваться в оценках пушкинского создания. Но как при сочувственном отношении к музе Пушкина не оценить классической простоты его плана, не почувствовать общей мысли, обнимающей все обширное создание и отсвечивающей в каждом из его кристаллов, в каждой онегинской строфе?

Поистине Пушкин сам должен был воспитать своего читателя. Недаром к нему и обращается постоянно поэт, беседует доверительно, подшучивает и задирает, откровенно делится с ним своими авторскими заботами. Разве не признавался в конце романа сам поэт:

Промчалось много-много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал...

Роман и в самом деле начинался неторопливо. Почти вся первая глава была посвящена описанию одного дня героя, во второй главе почти не было действия, а лишь подробные характеристики других героев. Критика и впрямь настраивалась на поэму «песен в двадцать пять», о которой то ли в шутку, то ли всерьез упоминал в первой главе автор. «Всех

глав, — сообщал в то время один из журналов, — как говорят литературные лазутчики, ожидается двадцать с лишком».

И лишь когда читатель был убежден в достоверности героев, угадал в них «знакомых незнакомцев», они, сойдясь вместе, начали действовать — не играть роли, а жить, свободно и непредсказуемо. Именно потому читатели, получая очередную вышедшую из печати главу «Онегина», спорили о том, как дальше поступят герои романа.

Поэт Валерий Брюсов, вспоминая своего деда, писал: «Ярко помню его рассказ о том, как нетерпеливо ожидалось в свое время появление новой главы „Евгения Онегина“. Нам, привыкшим видеть в „Онегине“ законченное целое, трудно представить, как где-то в провинции, на вечеринке юношей, увлеченных литературой, подымались споры, что будет с Онегиным: женится ли он на Татьяне? доведет ли автор своего героя до кончины? от чего умрет Онегин?»

«Одни говорят, — сообщал журнал «Московский вестник» в 1828 году, — что Онегин изображен не в ярких, не в резких красках... другие, напротив, бьются об заклад, что по полученным данным они отгадают все будущие решения Онегина, — как станет он действовать в тех или иных обстоятельствах. „Ну примет ли он вызов Ленского?“ — спросил Атлет из первой партии своего противника. — Тот задумался, но наконец отвечал: „Это может зависеть от разных посторонних обстоятельств; вероятно, Онегин употребит усилие

для того, чтобы кончить распрю. Впрочем, может быть, и примет вызов". — „Изверг, изверг!" — воскликнули все присутствующие дамы. Многим сделалось дурно, и бедные на силу очнулись, и то выливши по стклянке одеколona на вискй».

Вяземский также вспоминал: «Одна умная женщина, кн. Голицына... сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: „Что вы думаете сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте хорошенько участь ее". — „Будьте покойны, княгиня, — отвечал он, смеясь, — выдам ее замуж за генерал-адъютанта". — „Вот и прекрасно, — сказала княгиня. — Благодарю"».

И в то же время известно, что — в ином случае — уже вполне всерьез Пушкин удивлялся, как поразила его Татьяна, выйдя замуж.

Потому и менялся на ходу план романа, что герои его не оставались неизменными, да и сама русская жизнь изобиловала крутыми поворотами. «Прежде всего в „Онегине", — справедливо замечал Белинский, — мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в один из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения „Евгений Онегин" есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица».

Наблюдения над черновыми рукописями показывают, как непросто складывался сюжет романа. Закончив в начале октября 1824 года

третью главу, Пушкин сразу же начинает работать над строфами четвертой главы, в которой события должны следовать после получения Онегиным письма от Татьяны. Судя по всему, кровавое столкновение между Онегиным и Ленским тогда еще не намечалось: Онегин вскоре после объяснения с Татьяной должен был, вероятно, отправиться в путешествие и на пути своем, в Одессе, вновь встретиться с автором. Татьяну же ее мать уже тогда была готова везти в Москву «на ярманку невест». Но четвертая глава на протяжении всего 1825 года как-то не давалась поэту. Словно он ждал каких-то событий, которые и должны были в конечном счете подсказать дальнейшие сюжетные коллизии.

Пушкин и сам давно уже о многом догадывался. А в январе 1825 года его навестил в деревне лицейский друг, Иван Пущин. Впоследствии Пущин вспоминал: «Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: „Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать...”».

В конце 1825 года до Пушкина дошли другие вести: о событиях 14 декабря, об аресте Рылеева и Бестужева, Пущина и Кюхельбекера и многих других, близких сердцу.

И тогда вдруг двинулась работа над «Онегиным». В считанные декабрьские и январские (уже 1826 года) дни Пушкин заканчивает чет-

вертую и пишет пятую главу романа. В 1826 году завершена и вся первая часть (шесть глав), которая кончается гибелью Ленского. В черновиках Пушкин недаром называл его: «Поклонник Славы, друг Свободы». Размышляя о том, как сложится его жизнь в зависимости от исторических судеб России, Пушкин писал:

Быть может, он для блага мира,
Или для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света,
Ждала высокая ступень...
.....
Он совершить мог грозный путь,
Дабы последний раздохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов, иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев...

Теперь, в 1826 году, Пушкин особенно четко видит и иной возможный исход для Ленского:

Но может быть, и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем жар души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат...

Седьмая глава писалась около двух лет. Еще три года обдумывались две последние главы. В 1829 году, предполагая перенести действие романа в последекабрьскую эпоху, Пушкин видит Онегина декабристом, сосланным на Кавказ и погибающим там. Но в таком виде роман не мог быть опубликован. Осенью 1830 года, в Болдине, Пушкин исчерпывает сюжет, словно обрывает его.

И все же, доведя повествование лишь до весны 1825 года, в последней строфе романа Пушкин не мог не вспомнить о своих друзьях, томящихся «во глубине сибирских руд»:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милой идеал...
О много, много рок отъял!..

Когда-то слова Саади были взяты эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако Пушкин несомненно знал, что в 1827 году внимание правительства остановила следующая фраза в одной из статей журнала «Московский телеграф»: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время (...) Смотрю на круг друзей наших, прежде оставленный, веселый, и часто (...) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал

слова Сади): „Одних уж нет, другие странствуют далеко!”».

Немедленно автор этого пассажа, Вяземский, получил выговор. Блудов, надзиравший за журналами по Министерству просвещения (он был, между прочим, и делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов), патетически восклицал: «Я не могу поверить, что вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я представляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль».

Как видим, Пушкин именно на подобное «действие» и рассчитывал!

Это отбрасывает особый свет на содержание последних глав романа. Пушкин расстается со своими героями на пороге 1825 года. Готовы ли они достойно встретить грозные события, которые могут коснуться их?

И при жизни Пушкина, и долгое время спустя не кончались споры, «права» ли Татьяна, которая по-прежнему любит Онегина и все же говорит ему: «Но я другому отдана / И буду век ему верна». Однако тема верности, женской верности в особенности, в последекабрьскую эпоху наполнялась особым смыслом. Подвиг женщин, «русских душою», отправившихся — вслед за осужденными — в «мрачные пропасти земли», был едва ли не самой яркой в ту пору политической демонстрацией, вызовом жестокому режиму. Татьяна готова к такому подвигу.

А что с Онегиным?

Осенью 1831 года, в Царском Селе, прежде чем поставить в своем романе точку, Пушкин дополнит последнюю главу письмом Онегина к Татьяне:

...Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Пусть на какое-то время, но Онегин все же воспрянул от оцепенения, от хандры... Стало быть, есть в нем еще душа живая, а это может стать залогом и его нравственного возрождения. Впрочем, может быть, как и Ленского, Онегина ждал и «обыкновенный удел»... Размышляя о том, как сложится в дальнейшем жизнь Онегина, читатель — а он уже был приучен размышлять! — не мог не почувствовать, насколько сам человек, при всех враждебных к нему обстоятельствах, ответствен за свою судьбу.

Читателей же у романа Пушкина с каждым годом становилось все больше. Тираж первой главы романа оказался по тем временам велик, и потому следующие главы печатались тиражом в 1200 экземпляров. В год же смерти Пушкина, незадолго до нее, в книжных лавках появилось изящное, миниатюрное второе пол-

ное издание «Евгения Онегина», выпущенное тиражом в пять тысяч экземпляров, — спустя четыре года оно уже продавалось вдвое дороже номинала. Можно, конечно, снисходительно усмехнуться, оценив крайне узкий — сравнительно с нашим временем — круг пушкинских читателей. Но, право же, было бы справедливее поразиться тому, как стремительно круг этот расширялся. Конечно, спрос на книгу возрос в связи с известием о безвременной гибели поэта. Однако разве и по сию пору возможно расчлнить нашу любовь к пушкинским книгам и к нему самому? Разве, читая впервые или перечитывая вновь его роман «Евгений Онегин», мы не слышим живой голос Пушкина:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья
По тайной воле провиденья
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
.....
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить,
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук...

Прими ж мои благодаренья
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья;
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!





*«Комедия о великой беде
Московскому Государству,
о царе Борисе
и о Гришке Отрепьеве»*

С утра зарядил мелкий дождь, не полетному нудный и холодный. Пушкин выглянул на террасу, стараясь понять, скоро ли он кончится. Куда там! Разверзлись хляби небесные. Пелена воды и тумана была столь плотной, что даже Сороти внизу, под холмом, не было видно.

Он вернулся в кабинет: там было совсем мрачно. Зажег свечу. Не работалось. Под руку попало письмо Рылеева — давнее, присланное месяца полтора назад, еще в мае. «Петербург тошен для меня, — жаловался Кондратий Федорович, — он студит вдохновенье: душа рвется в степи; там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойнее века нашего, но как бы на зло железные обстоя-

тельства приковывают меня к Петербургу...» Ах, Кондратий Федорыч, Кондратий Федорыч! «Железные обстоятельства..!» А не хочешь ли поменяться, помокнуть здесь, в Михайловском?

Однако надобно приниматься и за дело... Раскрыл тетрадь. Пошарил по столу и нашел огрызок гусиного пера... Сделал несколько росчерков — ничего, еще годится. Под шум дождя начал новую сцену трагедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве... А каково было Гришке в монастыре?.. Тоже куда как невесело!

Что за скука, что за горе наше бедное житье!
День проходит, день проходит — видно слышно все одно:
Только видишь черны рясы, только слышишь колокол.
Днем, зевая, бродишь, бродишь; делать нечего — соснешь;
Ночью долгою до света все не спится чернецу.
Сном забудешься, так душу грезы черные мутят;
Рад, что в колокол ударят, что разбудят костылем.
Нет, не вытерплю! нет мочи. Чрез ограду да бегом.
Мир велик: мне путь-дорога на четыре стороны,
Поминай как звали...

Ага — теперь появится злой чернец и подскажет Григорию: «Ты царевичу ровесник... если ты хитер и тверд... Понимаешь?..» Пушкин перечитал написанное: нет, что-то здесь не сложилось... Что-то похожее вышло на думу Рылеева «Царевич Алексей Петрович в Рождестве» (ее в рукописи привез в Михайловское Пушкин полгода назад). Как-то просто все получилось: нашептал злой чернец Григорию об убиенном Димитрии — и вот, пожалуйста, уже готов соперник царю Борису. Да и сам этот

старый чернец — больно смахивает он на злого беса. Какой-то Асмодей. Не монах, — а демон доморощенный...

Впоследствии эта сцена будет Пушкиным выброшена из трагедии.

Трагедию Пушкин начал писать еще в конце прошлого, 1824 года. В Михайловское в число новых книг были доставлены X и XI тома «Истории государства Российского», посвященные бурным событиям конца XVI—начала XVII века. «Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! — восхищался Пушкин. — Какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета». Уже давно искавший достойный сюжет для исторической трагедии поэт с увлечением осваивает новый для себя драматический род литературы, пишет драму о царе Борисе.

Что привлекло внимание Пушкина в далекой эпохе?

Прежде всего, думается, та особая ситуация, которая сложилась в России после смерти Ивана IV. Недаром с самых первых сцен тень «грозного царя» постоянно ощущается в пушкинской пьесе. Как ни гонит от себя воспоминание об Иоанне «зять Малюты» царь Борис, он все время думает о нем. Более того, Борис по сути наследует Иоанново дело, постоянно подавляя боярскую оппозицию и оставаясь — согласно исторической концепции Пушкина — наедине в столкновении с новыми историческими силами, еще смутными и неведомыми...

Эпоха смут, мучительного процесса выработки новых идеалов и поисков новых истори-

ческих путей — таким представлялось Пушкину и его время.

Пушкин работал над трагедией с увлечением, с редким даже для него творческим подъемом. В начале ноября 1825 года он сообщил Вяземскому: «Поздравляю тебя, моя радость с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис — Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын... Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!...»

Александр I не успел ознакомиться с пьесой, 19 ноября он умер в Таганроге. Потом наступило 14 декабря 1825 года, день восстания декабристов, и потянулись долгие недели ожидания: в следствии по делу о «злумышленных обществах» имя опального поэта возникало не раз, в бумагах многих осужденных были обнаружены его вольнолюбивые стихи.

Однако Николай I предпочел оставить сие без внимания. Он надеялся приручить поэта. В сентябре 1826 года Пушкин с фельдъегерем был доставлен в Москву и там высочайше обласкан — царь разрешил поэту печатать свои произведения, вызвавшись сам быть его цензором.

Что это значило на практике, Пушкин впервые почувствовал именно в связи со своей пьесой. После того как он прочитал драму не-

которым своим московским приятелям, последовал строгий запрос шефа корпуса жандармов, начальника III Отделения его императорского величества канцелярии.

«Милостивый государь Александр Сергеевич! — писал генерал Бенкендорф. — При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы вы, в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство мое, или даже и прямо, его императорскому величеству (...)

Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию.

Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие, или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршьего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного».

«Так как я действительно читал в Москве свою трагедию некоторым особам... — вынужден был объясняться поэт, — то поставляю за долг препроводить ее Вашему превосходительству, в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена...»

Пьеса поступила на отзыв в III Отделение. «В этой пьесе, — пренебрежительно писал

рецензент, — нет ничего целого: это отдельные сцены или, лучше сказать, отрывки из X и XI томов „Истории государства Российского“, сочинения Карамзина, переделанные в разговоры и сцены (...) Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали (...) Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Валтера Скотта!.. Все подражание, от первой сцены до последней. Прекрасных стихов и тирад весьма мало. Некоторые места должно непременно исключить. Говоря сие, должно заметить, что человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнести ни в одном благопристойном трактире».

Приведем для образца лишь одно из таких «мест» с комментариями рецензента: «Сцену в корчме можно бы смягчить: монахи слишком представлены в развратном виде. Пословица: Вольному воля, спасенному рай, — переделана: Вольному воля, а пьяному рай. — Хотя эти монахи и бежали из монастыря и хотя это обстоятельство находится у Карамзина, но, кажется, самый разврат и попойка должны быть облагорожены в поэзии, особенно в отношении к званию монахов».

Сочный и образный народный язык, которым впервые в русской драматической поэзии заговорили герои пушкинской трагедии, вызывает благонамеренный ужас и сам по себе, и, главное, потому, что, по мнению рецензента, «у нас еще не принято, чтобы каждый герой (...) говорил своим языком без возражения

за его умствованием. Представлять каждому читателю возражать самому — еще у нас не принято, да и публика у нас для этого не созрела».

Ознакомившись с отзывом III Отделения и не удосужившись прочитать пушкинскую пьесу, Николай I начертил собственноручно на «Замечаниях»: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скота».

Несколько позже Пушкин заметит: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная... Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастность, государственные мысли историка, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода». На высочайшее же пожелание он отвечал с большим достоинством: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

В журнале «Московский вестник» в 1827 году была напечатана одна из сцен пьесы. Потом в альманахах было помещено еще два отрывка... Вся же пьеса, казалось, разделила судьбу многих сочинений Пушкина, так и не вышедших в свет при его жизни. Однако когда, собираясь вступить в брак с Н. Н. Гончаровой, поэт по совету друзей вновь обратился за разрешением опубликовать трагедию, чтобы поправить свое материальное положение, то высочайшее соизволение на сей раз было неожиданно получено.

По-видимому, женитьба Пушкина внушила правительству мысль о том, что общественное поведение поэта в будущем станет более спокойным. Царь разрешил Пушкину опубликовать трагедию «под его собственной ответственностью».

И вот, наконец, книга вышла в свет.

В самые последние дни 1830 года в книжной лавке известного петербургского книгопродавца Александра Филипповича Смирдина царило необычайное оживление. «Книжный магазин, — свидетельствовал Н. В. Гоголь, — блестел... лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озирая заглавия голубых, красных, в золотом обресе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием, человеческих творений. Толпа густилась и росла... Сидельцы суетились. „Славная вещь! Отличная вещь!“ — отдавалось со всех сторон. „Что, батюшка, читали «Бориса Годунова»? Нет? Ну ничего же вы не читали хорошего“, — бормотала кофейная шинель запахивавшейся квадратной фигуре. — „Каков Пушкин?“ — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезающему последние листы... „Да, с большим, с большим достоинством! — твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол-унции табаку в свое римское табакохранилище, — конечно, есть места, которых строгая критика...“ — „Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность, — присовокупил с довольным видом книгопродавец, — ручается

успешная-с выручка денег... Если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа!" Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и книжкою в руках...»

Впрочем, путь ее к читателю был долог и труден...

Несмотря на то что книга хорошо раскупалась, критика встретила ее сдержанно, а порой и с откровенным раздражением. «Не общее ли мнение всех есть то, — писалось в одном из московских журналов, — что, когда вы прочитываете драму Пушкина, у вас остается в памяти множество чего-то хорошего, прекрасного, но несвязного, в отрывках, так, что ни в чем не можете вы дать себе полного отчета?»

Нельзя просто отмахнуться от подобного отзыва. Собственно до конца он не преодолен и по сию пору. 23 стремительно сменяющиеся одна другую сцены дают обширную панораму разномасштабных событий, показывают не только парадный лик истории, но и глухие ее закоулки, без которых, однако, общая картина исторической эпохи была бы искажена и непонятна. При этом драматург вовсе не стремится к педантичному воссозданию хода событий. Прежде всего ему интересны живые люди, их «истина страстей и правдоподобие чувствований».

Особенно свободен Пушкин в обрисовке характеров «неисторических лиц»: того «черного люда», который в трагедии предстает и как масса, и в пестром многообразии коло-

ритных личностей. Используя, как правило, названные у Карамзина имена (Варлаам, Мисаил, Пимен, Карела и пр.), Пушкин видит за ними живых людей. Так, в «Истории» Карамзина дважды походя упоминается спутник Григория Отрепьева до Луёвых гор, инок Пимен. В трагедии Пушкина Пимен — один из значительнейших персонажей, воплощающий в своем «правдивом сказании» суд народа над земными владыками. «Характер Пимена, — писал Пушкин, — не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое...»

Подсчитано, что в трагедии Пушкина — свыше восьмидесяти действующих лиц, причем более семидесяти из них действуют лишь в одной из сцен. Само это многолюдие уже не может не потеснить центральных героев пьесы — царя Бориса и Григория Отрепьева, первый из которых появляется лишь в шести, а второй — в девяти сценах. Следуя Шекспиру в «вольном и широком изображении характеров», Пушкин в отличие от него отказывается от сосредоточения всех событий вокруг одного героя.

Обстоятельство это до некоторой степени скрадывается привычным для нас заглавием трагедии: «Борис Годунов». Следует напомнить, однако, что в рукописи пьеса была названа иначе: «Комедия о великой беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Здесь не только содержалась вполне

уместная стилизация под старину (вспомним хотя бы название известного народного игрища «Комедия о царе Максимилиане и о его непокорном сыне Адольфе»), не только давался определенный тон для восприятия пьесы, но и намечался необходимый для ее понимания масштаб действия.

В театре Пушкина прозревался театр будущего. Не случайно, по свидетельству А. Гладкова, работавшего вместе с В. Мейерхольдом над постановкой пушкинской драмы в 1936 году, «перед началом репетиции „Бориса” Мейерхольд заявил, что ему надоели упреки в том, что он переделывает классиков, и он будет ставить трагедию Пушкина без каких-то ни было купюр и вставок». Разработав одну из сложнейших по режиссерскому решению пушкинских сцен, Всеволод Эмильевич говорил: «А я ничего не выдумал (...) это же все написано у Пушкина, я только инсценировал скрытую ремарку». И еще одно высказывание Мейерхольда следует вспомнить: «В этой пьесе важно исполнение каждой роли. Здесь нет маленьких ролей. Я утверждаю, что для того, чтобы сыграть „Бориса Годунова”, нужны не только хорошие актеры на роли Бориса, Шуйского, Григория, Марины. Гораздо важнее замечательный ансамбль на остальные роли, ибо количественно они заполняют собой всю пьесу...»

Конечно, как и каждый гениальный режиссер, В. Э. Мейерхольд, «угадывая» скрытые ремарки у Пушкина, творил свой спектакль, но то режиссерское начало в самом

пушкинском тексте, которое он прозревал, действительно в пушкинской пьесе присутствует.

Собственно, оно воплощено уже в пушкинском стихе. Большинство сцен пьесы написано нерифмованным пятистопным ямбом с обязательной цезурой после второй стопы. Это уже определяет почти однозначно — во всяком случае, достаточно жестко — и логические ударения, и саму мелодику каждой фразы. «Живая драматическая речь, — замечает Б. В. Томашевский, — рождается от столкновения двух рядов движения слова: 1) по законам стиха, 2) по законам логического и синтаксического развития (...) Стих, так сказать, обогащает речь новыми знаками препинания, так как он членит речь ритмически, и это дает возможность оживлять те формы интонаций, которые малодоступны прозе».

Это сказано о стихе «Горя от ума». Но так обстоит дело и в «Борисе Годунове». Пятистопный ямб с цезурой обуславливает, между прочим, одну любопытную особенность текста пьесы: первое слово в строке (или группа из двух-трех слов в четыре слога) всегда выделено, находится под ударением, в том числе и логическим. Приведу лишь один пример — из монолога Марины:

Он из любви // со мною проболтался!
Дивлюся: как // перед моим отцом
Из дружбы ты // доселе не открылся,
От радости // пред нашим королем,
Или еще // пред паном Вишневецким
Из верного // усердия слуги...

Стих Пушкина здесь не позволяет читать: «Дивлюся: // как перед моим отцом» или «Из верного усердия слуги».

Как известно, впоследствии Пушкин считал излишней обязательную цезуру в пятистопном ямбе и в «Маленьких трагедиях» уже обходился без нее. Но для «Бориса Годунова» — это закон, который обязателен для актера; в соответствии с этим законом была выверена и продумана Пушкиным каждая стихотворная фраза. Это требует культуры произнесения стихотворного текста, которой современные актеры плохо владеют. Тем более недопустимы столь любимые многими исполнителями эксцентрические ужимки, перерывы речи, ухмылки, произвольные паузы и т. п., нарушающие заданный Пушкиным ритм. На первый взгляд это кажется неоправданным посягательством на свободу актерской работы (аналогично «диктату» режиссера), на самом же деле при органичном овладении культурой драматического стиха становится не тормозом, а опорой в создании образа.

С общим стихотворным строением драмы Пушкина связана и, может быть, еще более важная ее особенность — тоже своеобразное режиссерское указание драматурга. Пять сцен пьесы целиком написаны прозой: «Палаты патриарха», «Корчма на Литовской границе», «Граница близ Новгорода-Северского», «Площадь перед собором в Москве», «Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца».

Нельзя не заметить, что, выпадая из мерной, несколько торжественной речи, прозаиче-

ские сцены уже этим самым несколько снижены, опрошены, предполагают наличие комического начала. Так оно и есть: недалекий патриарх, * Варлаам и Мисаил, Маржерет и Розен, Николка-юродивый — все это, несомненно, комические персонажи, определяющие общую комическую инструментовку указанных сцен (хотя и не плоско комическую — ср., например, сцену с юродивым). Однако, если такая закономерность верна, мы обязаны и последнюю сцену драмы, также написанную прозой, представить в том же ключе. На первый взгляд, это кажется невероятным. Но вспомним, что в первоначальном виде (именно потому сцена и писалась прозой!) она, а с ней и вся пьеса в целом, заканчивалась народным кличем: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!». Мог ли Пушкин трактовать такую сцену всерьез? Конечно, нет. Но ведь окончательная концовка иная: «Народ безмолвствует». Огромная, с каждым годом все множащаяся литература по истолкованию этой реплики все более и более нагружает ее глубокомысленным значением. В общей концепции спектакля это чрезвычайно важный момент: на какой ноте обрывается пьеса?

* Пушкин впоследствии замечал: «Грибоедов критиковал мое изображение Иова, — патриарх действительно, был человек большого ума, я же по рассеянности сделал из него дурака». «По рассеянности» здесь — обычная уловка Пушкина. В его пьесе Патриарх по своему простодушию, непосредственности близок к людям из народа. Если он и «дурак», то из породы сказочных Иванов-дураков.

И здесь мы подходим к важнейшему вопросу, без которого пьеса Пушкина не может быть понята по-пушкински; — к вопросу о трактовке в ней народа, главного персонажа, изображение которого в сценическом исполнении представляет наибольшую трудность.

Обратимся прежде всего к рассуждениям о народе в репликах и монологах действующих лиц.

Народ здесь постоянно предстает силой антигосударственной, направленной на низвержение установленного миропорядка:

Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова...

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше...

Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой.

Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она...

Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, ни польскою подмогой,
А мнением; да! мнением народным.

Последняя реплика особенно любима пушкинистами, но если ее не вырывать из контекста, она аналогична всем приведенным выше.

Та же в сущности мысль развита в действии, в непосредственном изображении народа в ряде эпизодов пьесы. Но как развита?

С некоторым удивлением мы обнаруживаем, что массовые сцены пьесы, где народ обозначен как особое собирательное действующее лицо, в большинстве своем имеют комическую огласовку. Сколько раз в сценических интерпретациях пушкинской пьесы, исходящих из «самоочевидного» тезиса: «Пушкин впервые в русской драматургии показал народ в качестве основной движущей силы истории» — режиссеры-постановщики сталкивались с непреодолимыми трудностями воплощения этой мысли на сцене. Если быть в данном отношении точными, мы должны говорить не о комизме, собственно, а о смеховом мире средневековья, который Пушкин воспроизводит вполне последовательно.

Определяя природу смеховой культуры, академик Д. С. Лихачев пишет: «Смех нарушает существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и нелепость существующих в социальном мире отношений: отношений причинно-следственных, отношений, осмысляющих существующие явления, условностей человеческого поведения и жизни общества. Смех „оглушает“, „вскрывает“, „разоблачает“, „обнажает“. Он как бы возвращает миру его изначальную хаотичность».

Вот этот «хаос», смуту, инстинктивное сопротивление системе и воплощает в себе народ в пушкинской драме. В том же случае, когда он вынужден подчиняться этой системе, он обращает свой смех на себя. «Одной из самых характерных особенностей средневекового смеха является его направленность на самого смеющегося (...) В скрытой и в открытой форме в этом „валянии дурака“ присутствует критика существующего мира, разоблачаются существующие социальные отношения, социальная справедливость. Поэтому в каком-то отношении „дурак“ умен: он знает о мире больше, чем его современники».

Смеховая культура, несомненно, по мысли Пушкина, проявляется не только в отдельных народных сценах пьесы (эпизод с фарсовыми слезами в 3-й сцене, вся сцена в корчме, передразнивание русским воином Маржерета), но создает постоянный смеховой фон изображенных здесь событий. Подчеркнуть это обстоятельство необходимо, так как в сценической интерпретации народ героизируется («движущая сила истории»). Единственным спектаклем по пьесе Пушкина, где смеховое начало выходит на первый план, является, пожалуй, спектакль в Театре на Таганке режиссера Ю. Любимова, но этот смех, как правило, имеет иную культурную ориентацию: он возникает как пародия на сценические штампы, на традиционную (выспреннюю) трактовку пушкинской пьесы.

Между тем Пушкин очень чутко уловил и ту особенность народной смеховой культуры,

которая нередко опрокидывалась в ужасное, трагическое, что особенно ярко проявилось в сцене с Николкой-юродивым. Именно потому Пушкин писал о «смешении комического и трагического» (а не просто о чередовании того и другого) или замечал: «Сцена тени в „Гамлете“ вся писана шутовым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток».

История постановок на сцене пушкинского «Бориса Годунова», имеющая в своем активе немало великолепных актерских работ и несколько интересных режиссерских замыслов, тем не менее не содержит ни одного классического решения — не в смысле бесспорности и общепризнанности, а в смысле единства стиля всех театральных средств, всего ансамбля актеров, художественной целостности спектакля. И камнем преткновения здесь всегда служила трактовка народной массы в пьесе. В дореволюционных постановках народная масса выступала, как деталь декорации, некий даже не оперный, а опереточный фон. В советское время режиссеры настоятельно обдумывали и разрабатывали народную тему, но как? Вполне очевидно, что официальный тезис о народе как движущей силе истории можно привнести в драму Пушкина, только исказив, разрушив ее художественную ткань. Неубедительной, противоречащей пушкинскому тексту, а потому фатально деформирующей спектакль была и попытка изобразить нарастающую силу народного мятежа. Где у Пушкина эта нарастающая сила?

Ее нет в сквозном действии. И если предпоследняя сцена заключается страшным всплеском:

Мужик на амвоне

Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!

Н а р о д (*несется толпою*)

Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова! —

то в последней, заключительной сцене никакого нарастания нет — наоборот, ожесточение к «племени Бориса» готово перейти в сочувствие к жертвам, а вся пьеса в первой редакции кончалась отнюдь не бунтарским криком; да и в классической ремарке «Народ безмолвствует» — отнюдь не нарастание.

Столь же бесперспективна и попытка (Малый театр, 1927) исчерпать народную тему в «Борисе Годунове» лишь трагедией бесправного народа-раба. Покорный раб может, конечно, вызывать жалость, но высокий трагизм сопутствует лишь рабу, предпочевшему гибель в борьбе за освобождение. Разве таков народ в пьесе Пушкина?

Так какой же видел Пушкин роль этого центрального собирательного образа?

Прежде чем предложить ответ на этот вопрос, обратимся к другим центральным персонажам пушкинской драмы.

Наиболее ясна из них роль Бориса — недаром она позволила блеснуть многим великим русским актерам. Характер истинно трагиче-

ский, сильный, волевой, посягнувший на высшую власть, но нарушивший нравственный закон, он в пушкинской пьесе представлен одолеваемым муками совести, трагической вины — и в этом состоит очищающий катарсис Борисова начала в драме.

Но Григорий, Отрепьев, Самозванец, Гришка, Димитрий, Лжедмитрий, царь Димитрий Иванович — он кто? В отличие от Бориса он предстает нашим глазам в различных модификациях и никак не слагается в единый образ — недаром и не имеет единого имени. За эту роль также брались многие великие актеры, но, кажется, ни один из них не был удовлетворен своей работой. Гришка Отрепьев у Пушкина очерчен неясно, и это при том, что количественно участвует в самом большом числе сцен по сравнению с другими персонажами, причем в каких сценах! И сцена «Келья в Чудовом монастыре», и «Сцена у фонтана», и «Сцена в корчме» недаром нередко игрались по отдельности, так как обладают внутренней изодранной драматургией и ярко очерченными характерами. Достаточно вспомнить Пимена, Варлаама с Мисаилом, Марину Мнишек — все они полнокровны и ясны, а ведь каждый из них появляется лишь в одной из сцен. Если бы Пушкин не справился с характером Григория—Димитрия, не было бы самостоятельных вышеназванных драматических характеров, так как они созданы, несомненно, по законам драматургического жанра литературы, в действии, в столкновении с Григорием. Так что же он?

Чернец в келье Чудова монастыря, дерзкий юноша в корчме, Самозванец в польских замках, Димитрий, ведущий полки против Бориса, — все это одно ли лицо? Казалось бы, вздорный вопрос! Но вспомним исторического Лжедмитрия, возрождавшегося в истории трижды. Да и в самой пьесе Пушкина не потому ли он столь изменчив, неотчетлив? Даже если это одно и то же лицо (хотя наименования его и различны) — каким он видится окружающим его? И почему, включенный в трагедийный строй драмы, он не несет в себе трагедийного катарсиса? Не потому ли, что он из некоего антимира, мира опрокинутого, крошечного, смыкающегося со смеховым (постоянно колеблющимся на грани комического и трагического) народным миром. Он — тень Бориса Годунова, исторический фантом, ряженный, Самозванец.

Сказанное вовсе не ставит под сомнение реализм пушкинской пьесы. Но недаром же Достоевский прозревал фантастический реализм в «Пиковой даме». И разве «Борис Годунов» — не столь же, как эта пушкинская повесть, близок художественному миру Достоевского?

Во всяком случае, как мне кажется, сценическая практика в истолковании образа Самозванца неопровержимо свидетельствует, что попытки столь же реалистически полнокровно, как и прочих лиц, истолковать Самозванца фатально не удаются. Не потому ли, что и здесь режиссер вступает в противоборство с пушкинской пьесой?

И вот теперь мы можем опять вернуться к народу, как центральному образу пушкинской пьесы. Он противопоставлен царю-преступнику — Борису. Он верит чуду, фантастической материализации своей убежденности в справедливой каре преступнику. Но святое оборачивается кромешным миром.

Не надо думать, что такая трактовка пушкинской пьесы снижает ее политический и философский смысл. Вину в трагедии несет в себе не только Борис, преступник, но и его подлинный антагонист, народ. Это столь же огромная, трагическая вина. Вина, порожденная смутой, распадением связи исторического времени, крутого перелома, который пока еще не открывает никаких светлых далей (как их желают обычно увидеть в сценических интерпретациях пушкинской трагедии!). Это вина неверного выбора, когда ясно, кто неправ, а потому кажется, что прав уже тот, кто вступил в оппозицию к неправому. А ему тоже до права дела нет. И силы, стоящие за ним, также корыстны.

Можно было бы привести много прямых указаний в тексте пьесы на эту трагическую вину народа. Остановлюсь на одном.

«Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит», — бесхитростно выражает «мнение народное» кородивый. Но молился же народ — не только когда с «хоругвиями святыми» призывал Бориса на царство. Но и прямо: в сцене «Москва. Дом Шуйского» мы слышим эту молитву из уст Мальчика.

О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе царевубийцу
Мы нарекли, —

в начале пьесы кается Пимен.

Покаяние — это переворот понятий, искупление греха. Но пьеса Пушкина кончается на пронзительной, высокотрагической ноте. «Народ безмолвствует» — эта ремарка, появившаяся в окончательной редакции, в соответствии со всем смыслом пушкинской пьесы, означает не только молчаливое осуждение несправедливой новой власти, не только предвестие падения Лжедмитрия, но и ужасную немоту собственной вины, когда грех уже осознан, а покаяние еще не наступило.

Сценическая история «Бориса Годунова», несмотря на настойчивые искания многих выдающихся режиссеров, казалось бы, сама собою свидетельствует о том, что, как бы ни защищали драматургическое мастерство Пушкина литературоведы-пушкинисты, все это лишь теоретические (а можно сказать и грубее — схоластические) споры. В конце концов практика — подлинный критерий истины. Проверку же литературоведческих истин, касающихся драматургии, осуществляет театр.

Возражать на это трудно.

И все же. Нельзя не учитывать, что над ними властвует практика обращения театра к «Борису Годунову» в самые мрачные сталинские годы (в 1937 и 1949 годах), на которые по странной иронии судьбы падали главные и с

большой помпезностью в качестве политических кампаний отмечавшиеся пушкинские юбилеи. Здесь было огромное количество бесцветных постановок, потому что театрам в приказном порядке предписывалось «ставить Пушкина». Были, конечно, и поиски. Как правило, поиски в шорах.

Одна удивительная по фарисейству деталь, характеризующая установленный в 1937 году государственный культ Пушкина. Как известно, на постаменте открытого в 1880 году памятника Пушкину работы Опекушина были выбиты только две первые (в редакции В. А. Жуковского) строки из пророческого стихотворения поэта:

И долго буду тем народу я любезен,
Что звуки новые для песен я обрел...

Остальное — не позволила царская цензура.

Так вот, в 1937 году текст четверостишия был на постаменте восстановлен:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Это в 1937 году — о «жестоком веке» и о «милости к падшим»!

О каких муках совести деспота могла идти в ту пору речь? Всякая, даже не откровенная, а лишь намекающая на истину попытка раскрыть смысл политической трагедии Пушкина о народе и деспотической власти была обрече-

на на «народ безмолвствует», даже если такая мысль и возникала. И таланты актеров и режиссеров тратились на иное. Сравнивая исполнение роли Бориса Н. К. Симоновым в спектаклях 1937 и 1949 годов, Г. А. Лапкина отмечает: «Борис — изворотливый и лукавый политик, за спиной у которого темный, преступный путь к престолу, отошел в тень. Он уступил место другому персонажу — величественному, почти надменному, умом и опытом во много раз превосходящему окружающих его царедворцев, благородному, но замученному роковым стечением обстоятельств».

Во многих исторических пьесах и спектаклях той поры образы крупных государственных деятелей идеализировались. Эта тенденция косвенно отразилась и в ленинградской постановке „Бориса Годунова“. Годунов „подтягивался“ Симоновым к Петру I и Ивану Грозному».

Странным образом к такому же истолкованию иными путями подходит и Ю. Любимов в спектакле Театра на Таганке.

Однако, говоря о неудаче сценического воплощения трагедии Пушкина, было бы несправедливо не вспомнить о двух спектаклях 1937 года, которые так и не появились тогда на сцене, хотя готовились необычайно вдумчиво и тщательно. Я имею в виду несостоявшиеся спектакли в театре Мейерхольда и во МХАТе. Долг историков театра восстановить по сохранившимся архивным материалам их сценографию. Возможно, там и обнаружатся наиболее перспективные опыты сценического воплоще-

ния Пушкина, один из которых predetermined трагическую гибель великого режиссера, единственного, который попытался полностью довериться режиссерскому наитию Пушкина и не хотел изменить в пушкинской пьесе ни одного слова.





«Я к вам лечу воспоминаньем...»

Ближайший друг Пушкина, Павел Воинович Нащокин, как-то рассказал биографу поэта о последних минутах пребывания Пушкина в михайловской ссылке: «...нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему рассказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидая чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки и некоторые стихотворные пьесы, между прочим стихотворение „Пророк“, где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря».

Речь здесь идет о рабочей тетради поэта, которая содержала черновик одного из самых замечательных пушкинских произведений — его автобиографические записки.

«Несколько раз, — вспоминал позже Пушкин, — принимался я за ежедневные записки,

в 1821 году начал я писать свою автобиографию и продолжал до 1825 года заниматься ею. В конце 1825 года, когда был открыт несчастный заговор, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли бы замешать многих и, может быть, увеличить число жертв. Не могу не сожалеть о потере сих записок: они были любопытны, я в них говорил о людях, кои после сделались историческими лицами, со всею откровенностию дружбы и короткого знакомства».

Первым следом этого замысла служит шутовое замечание поэта в письме Дельвигу 23 марта 1821 года: «Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости — как не воспоминаниями?»

Писать мемуары в неполные двадцать два года и в самом деле было вроде бы рановато. Но здесь были особые обстоятельства. Насильственно отторгнутый от петербургских друзей, остро переживая «неправое гоненье», Пушкин отчетливо чувствовал, что в жизни его пройден первый перевал, с высоты которого открылась вдруг новая перспектива.

Сравнительно узкий круг как лицейских, так и петербургских впечатлений сменился для ссыльного поэта ошеломляюще бескрайними просторами. Первый длительный путь в Екатеринослав, вояж с Раевскими на Кавказ и в Крым, возвращение оттуда в Кишинев, длительные поездки в Каменку, Киев и Одессу, путешествие по Молдавии — эти чисто внешние впечатления наполнялись особым внут-

ренним смыслом. Живописная красочность южных пейзажей; этнографическая пестрота нравов и обычаев; исторические воспоминания, которые невольно пробуждались в местах героических, легендарных; мелькание новых лиц, любовные увлечения, вольные разговоры в кругу друзей — все это уже само по себе не могло не затронуть впечатлительную натуру Пушкина. Может быть, никогда в жизни, ни до, ни после этого, он не ощущал так остро чувства свободы, чувства радостного обновления. Но это чувство было изначально отравлено: свобода поэту принесла... ссылка.

Впервые жизнь проверяла характер поэта на излом. Он не знал еще, что ссылка продлится шесть лет и обернется в конце концов Михайловским заточеньем. Будет еще и столкновение в Одессе с графом Воронцовым, которое откроет постоянную борьбу поэта со светской чернью. Тем более пока еще далеки во времени трагические тридцатые годы: мелочная травля в журналах, мучительные объяснения с Бенкендорфом, высочайшая цензура, изнуряющие денежные долги, камер-юнкерский мундир и, наконец, роковая дуэль...

И как же — наперекор всем гоненьям — постоянно светла по своему основному тону муза Пушкина! Нет, он вовсе не возносился над прозой жизни — он словно подчинял ее своему гармоническому дару, заставляя ее служить своей поэзии, ощущая себя хозяином судьбы.

В южной лирике Пушкина уже возникает характерное для него ощущение связи времен,

проходящей через сердце поэта. Воспоминание о прошлом неизбежно рождает в пушкинском стихотворении мысль о будущем. Будущее же в свой черед отбрасывает свой свет на былое, и возникает представление о поступательном ходе времени, неистребимом его течении.

Каждый день открывал нечто новое. История вдруг предстала не книжным знанием, а живым процессом. В буднях стал ясно ощущаться гул эпохи. Время было беспокойным, насыщенным ожиданием перемен. Вся Европа пришла в движение. В начале 1821 года в Каменке, где в то время собрались ведущие деятели южного тайного общества, Пушкин отметит в записной книжке: «Орлов говорил в 1820 году: „Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы поступили глупо, свергнув с престола Наполеона”».

Регулярные подневные записи Пушкин начал вести в Кишиневе, возвратясь из Каменки. 2 апреля он запишет: «Говорили об Александре Ипсиланти; между пятью греками я один говорил, как грек: все отчаивались в успехе предприятия этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла».

9 апреля: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. „Сердцем я материалист, — говорит он, — но мой разум этому противится”. Мы имели разговор метафизический, политический, нравст-

венный и прочий. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

Уже эти подневные записи исподволь намечали исторический масштаб пушкинских мемуаров, к созданию которых он приступил в том же 1821 году. Вступлением к ним должны были служить дошедшие до нас «Некоторые исторические замечания»: «По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали...»

Стремительный обзор состояния России на протяжении целого века заканчивался так: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Каллигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку господи де Сталь за основание нашей конституции: „Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой”».

Конечно, составить по одному фрагменту целостное впечатление об общем плане и характере записок было бы затруднительно. Судить об этом помог бы тот жанровый образец, на который ориентировался Пушкин, замышляя собственные мемуары. В том, что такой образец в принципе существовал, сомневаться не приходится. Такова была обычная практика молодого Пушкина: осваивая новый для себя жанр, он обязательно отталкивался от какого-нибудь классического произведения — по-своему преобразуя его, отходя довольно далеко в

процессе развития собственного замысла. Было бы странным, если бы, приступая всерьез почти к неведомой для него прозе, Пушкин нарушил это правило.

И здесь нам помогает сориентироваться одно в высшей степени странное на первый взгляд высказывание Пушкина, которое мы находим в письме к Вяземскому, написанном во второй половине ноября 1825 года, т. е. как раз в то время, когда Пушкин только что кончил работу над собственными мемуарами: «Зачем ты жалеешь о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедовался в своих стихах, — невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов...»

Имеются в виду «Записки» Байрона, которые были посвящены истории его женитьбы и сожжены после гибели поэта по настоянию вдовы. Можно было догадываться, что написаны они были в жанре исповеди, которая недаром упоминается Пушкиным в том же письме: «Толпа жадно читает исповеди, записки... потому что в подлости своей радуется унижению высокого: слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе...»

Такие записки — с их установкой на самоанализ, на откровенное повествование о «жизни сердца» — Пушкину, как видим, чужды. Нужно вспомнить, однако, что в его время по-

длинного расцвета достиг иной жанр мемуаров, вызванный к жизни бурной эпохой французской революции, которая обнаружила тесную связь частного и исторического бытия человека. В 1820-е годы эти мемуары еще только-только проникали в печать, и одним из первых таких произведений для Пушкина явилось «Десятилетнее изгнание» Жермен де Сталь, знаменитой писательницы, изгнанной из Франции за оппозицию Наполеону.

Для молодого Пушкина много значило сходство собственной судьбы с жизнью иного писателя. Овидий, Байрон, Андре Шенье именно потому на многие годы становятся его духовными спутниками. Среди них и мадам де Сталь, которую Пушкин в двадцатые годы цитирует в своих статьях, исторических набросках и письмах не реже, чем в стихах — Байрона и Шенье. Характерная деталь: в одной из рабочих тетрадей Пушкин 12 апреля 1822 года набрасывает вензель из годов, начиная с 1811 года (начало лицейской поры!), где, между прочим, намечается перескок в будущее — вперед на десятилетие: ...«1819» — и вдруг: «1830», «1831». Думается, что мысль Пушкина здесь обнажена: 1820 год — это начало ссылки. Неужели она продлится десять лет, как у Жермен де Сталь?

Ориентация Пушкина на мемуары мадам де Сталь позволяет понять, каков был характер и стиль пушкинских «Записок». Личная биография здесь воспроизводилась в той степени, в какой она была связана с важнейшими историческими событиями и общественными

настроениями эпохи, свидетелем которых довелось быть мемуаристу.

Мемуары Пушкина в Кишиневе, однако, не были дописаны. Свободолюбивым надеждам в то время не суждено было осуществиться. Одна за другой подавлены революции в Испании и в Португалии, в Неаполе, в Палермо и в Пьемонте. Выступление греческих этеристов против турецкого ига тоже оказалось неудачным — разброд в стане вождей привел к неисчислимым жертвам. В России утверждался жестокий аракчеевский режим. Уже томился в Тираспольской крепости кишиневский друг Пушкина майор Владимир Раевский, которого позже назовут первым декабристом.

В той же рабочей тетради, где Пушкин вел подневные записи, набрасываются начерно горькие строки:

Бывало, в сладком ослепленье
Я верил избранным душам,
Я мнил их тайное рожденье
Угодно властным небесам...
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?..

Вернулся Пушкин к замыслу автобиографических записок спустя два года, пройдя новый жизненный перевал.

Шел уже четвертый месяц михайловского заточенья.

«Стихов не пишу, — писал поэт брату, — продолжаю свои записки...»

Начиная работу над крупным произведением, Пушкин обычно заводил новую тетрадь. Теперь он продолжил в ней рассказ о своей жизни — о Лицее и Петербурге, о путешествии в Крым и на Кавказ, о каменных словопрениях, о ссылке кишиневской, одесской, михайловской.

Работа спорилась. Воспоминания обступали и торопили перо. Иногда на полях тетради возникали рисунки: портреты друзей и недругов, детали знакомых пейзажей, стремительные росчерки, похожие на летящих птиц. Можно не сомневаться, что рядом с автобиографической прозой возникали и стихотворные строки, и, как всегда, Пушкин начинал исправлять и перечеркивать их, отыскивая самое нужное, самое заветное и точное слово.

Несомненно в связи с собственными мемуарами, — прочтя в петербургских журналах отрывки из воспоминаний (как выяснилось потом, поддельных) видного политического деятеля наполеоновской эпохи Жозефа Фуше, Пушкин в феврале 1825 года пишет брату: «...но, милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради „Записки“ Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Фуше! Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, то есть как политика, потому что в войне я ни черта не понимаю... Читал ли ты записки Наполеона? Если нет, так прочти; это, между прочим, прекрасный роман, но все, что относится

к политике, писано только для черни». Как видим, Пушкин особо пристрастно судит публицистическую направленность записок, все время имея в виду собственный замысел (в том же письме он замечает: «...стихов новых нет — пишу „Записки“, но и презренная проза мне надоела»).

Уже в сентябре 1825 года Пушкин сообщил Катенину: «Стихи покамест я бросил и пишу свои мемуары, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь».

Из беловика записок до нас дошел лишь отрывок, посвященный послелицейским событиям: «Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкою. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянье; но через шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера(...) Первые восемь томов „Русской истории“ Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели с жадностью и со вниманием...»

В этом отрывке ясно просматривается господствующая манера пушкинских мемуаров: от краткого упоминания о личных своих обстоятельствах мемуарист постоянно переходил к характеристике общественных настроений, скрываясь порой в толпе своих знакомцев: «Некоторые остряки за ужином переложили главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спаси-

тельной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, — конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм: это не лучшая черта моей жизни».

Едва ли можно сомневаться в том, что «некоторые остряки» — это не кто иной, как сам юный Пушкин, который-таки написал «одну из лучших русских эпиграмм», получившую широкое распространение в декабристской среде:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Записки писались Пушкиным без оглядки на цензуру. Это и предопределило их дальнейшую судьбу.

4 сентября 1826 года в Михайловское прибыл офицер, чтобы сопроводить поэта в Москву — к императору. Отлучиться из Михайловского Пушкин не мог, как и не мог надеяться, что после его отъезда в кабинете не будет произведен тщательный обыск. Черновая тетрадь с записками и, вероятно, их беловик были брошены в печку.

По преданию, отправляясь на встречу с самодержцем, готовый к самым суровым испытаниям, Пушкин вез с собою стихотворение, от которого в памяти друзей сохранилось всего несколько строк:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на вые
К убийце гнусному явись.

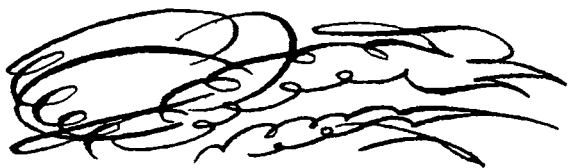
Черновик этого стихотворения был, вероятно, также записан в тетради, брошенной в огонь, — рядом с автобиографическими записками, над которыми поэт работал с 1821 года.

Существует выражение: «Рукописи не горят». В самом деле, сколько раз случалось, что то или иное произведение, которое по вполне достоверным обстоятельствам современников было уничтожено, все же обнаруживалось спустя много лет. Но дело не только в этом: в конце концов мы знаем, как много погибло на протяжении веков бесценных памятников культуры. И все же они не исчезли бесследно. Свет человеческого разума всегда возносится над пепелищами.

Так и с автобиографическими записками Пушкина. Наряду с романом в стихах «Евгений Онегин» и трагедией «Борис Годунов», «Записки» несомненно многое определили в позднейших пушкинских свершениях: опыт работы над историей своего поколения не мог не преломиться в главнейших пушкинских произведениях. На некоторых стихотворениях Пушкина михайловской поры также лежит отблеск его записок. Михайловские рукописи поэта довольно хорошо сохранились. Но далеко не все, конечно... Случайно ли, что до нас не дошли черновые автографы таких стихотворений Пушкина, как «Вакхическая песня» («Что

смокнул веселия глас...»), «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья...»), «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Керн» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет...»). Все они, словно страницы лирического дневника, наполнены светом благодарной памяти. Набрасывались вчерне они, по всей вероятности, в сожженной михайловской тетради, попутно с мемуарами, донеся до нас — пусть не строки автобиографических записок, но их настроение, их музыку.





Пушкин рассказывает...

В самом конце 1828 года в петербургских книжных лавках появилась очередная изящная книжечка альманаха «Северные цветы», изданная бароном А. А. Дельвигом. В отделе прозы здесь была помещена, за подписью «Тит Космократов», повесть «Уединенный домик на Васильевском». Начало ее, грустно-поэтическое по тону и насыщенное точными реалиями петербургской природы и быта, несомненно останавливало внимание просвещенных читательниц и читателей.

«Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинной косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные

здания, редая, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец, строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокой крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, — все погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике около означенной возвышенности жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в какой из коллегий(...). Все ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки...»

Впрочем, далее повествование просвещенного читателя могло разочаровать: в рассказе исчезала живописная плотность стиля, обличавшая руку опытного художника. В целом это была не слишком оригинальная история о черте, который в человеческом облике вторгся в «уединенный домик на Васильевском» и разрушил счастье двух любящих сердец, погубив добродетельную Веру и доведя до сумасшест-

вия ее дальнего родственника Павла, человека, зараженного, может быть, светскими пред-
рассудками, но доброго сердцем.

По выходе из печати повесть была оценена критикой более чем сдержанно: «лица русские, но нет ничего русского», «нескладная бесовщина», «изобретение вялое, не обнаруживающее в изобретателе ни тени художественного таланта».

Столетие спустя эта оценка была изменена на противоположную — когда неожиданно была открыта причастность Пушкина к повести. Выяснилось, что автор «Домика», скрывшийся под псевдонимом «Тит Космократов», был его знакомым.

В неоконченной пушкинской повести середины 1830-х годов «Мы проводили вечера на даче...» среди других персонажей упоминается некий Вершнев, «который учился некогда у езуитов». В черновике его характеристика была более пространной: «Вершнев, один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые все знают и все читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость». Первоначально же в рукописи этот персонаж был назван Титовым, что прямо указывало на одного из тогдашних литераторов.

Владимир Павлович Титов (1807—1891) был действительно человеком разносторонних знаний. Воспитанник Благородного пансиона и Московского университета, позже «архивный юноша» (так звали в Москве служащих при тамошнем архиве Министерства иностранных

дел), он был активным участником кружка Любомудров, членов которого отличала приверженность к немецкой философии. Еще студентом он перевел одну из трагедий Эсхила, потом — Фукидида и вместе с С. П. Шевыревым и Н. А. Мельгуновым — знаменитую книгу В. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и художниках», а с открытием в 1827 году журнала «Московский вестник» стал активным его автором, опубликовав здесь статьи о Соединенных Штатах и об Индии, о зодчестве и новом переводе сочинений Платона, о романе и о достоинстве поэта. Печатал Титов и художественные произведения: «восточную повесть» «Печеная голова» и «индийскую сказку» «Переход через реку, приключение брамина Парамарти»; 31 августа 1831 года Пушкин в письме из Петербурга к издателю журнала М. П. Погодину так отозвался о последней: «...индейская сказка „Переправа“ в европейском журнале обратит общее внимание, как любопытное открытие учености, у нас тут видят просто повесть и важно находят ее глупую. Чувствуете разницу?»

Переехав в 1827 году в Петербург и поступив на службу в Азиатский департамент, Титов занимался в Школе восточных языков; 16 марта 1828 года были отмечены его особые успехи на экзамене по арабскому языку (между прочим, на экзамене этом присутствовал А. С. Грибоедов). С Пушкиным же Титов познакомился в 1826 году, после возвращения поэта в Москву из ссылки, и часто встречался с ним в различных литературных салонах.

Ф. И. Тютчев в шутку говорил, что Титову назначено провидением составить опись всего мира. Однако справедливости ради стоит заметить, что сам эрудит трезво оценивал достоинства своей «убийственной памяти»: «При нынешнем удобстве быть начитанным мне случилось видеть людей, одаренных счастливой памятью; благодаря статистическим таблицам, они наизусть перескажут вам народонаселение государств, их долги и доходы, квадрат почвы, длину рек, площадь морей — и при этом не имеют ни о чем зрелого понятия (...) Есть превосходные умы, удачно развившиеся несмотря на такой светский образ жизни; но их немного. Подумаем о большинстве; оно состоит из умов посредственных, и к числу их сочинитель этой статьи охотно себя относит».

Литературная деятельность Титова закончилась с его молодостью; впоследствии он видный дипломат (генеральный консул в Дунайских княжествах, посланник в Константинополе и Штутгарте), в конце жизни — председатель Археографической комиссии и член Государственного совета.

Спустя полвека после публикации «Уединенного домика...» автор вспоминал: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космокротова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екатерины Николаевны, позже бывшей женою

кн. Петра Ивановича Мецгерского. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди „не укради“, пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, но ныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в „Северные цветы“».

Что же доподлинно сохранил Титов в повести из пушкинского рассказа?

Выпишем из нее детали, отмеченные в титовских воспоминаниях.

Чтобы отвлечь Павла от посещений домика на Васильевском, коварный приятель вводит его в гостинную графини И..., где собирается престранное общество: «Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины и не скидали перчаток во весь вечер...»

«Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. „Смотрите, — сказал один графине, запыхавшись от гнева, — я даром проигрываю несколько сот душ, а он...“ — „Вы хотите сказать — несколько сот рублей“, — прервала она с важностью. — „Да, да... я вино-

ват... я ошибся”, — отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукою сняло».

Замороженный чертовщиной, герой заблудился на окраине города: «К неожиданной радости Павла, проезжают сани. „Ванька! — кричит он, — вези меня домой в такую-то улицу”. Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрипит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, все нет места знакомого; и наконец, вовсе выезжают из города. Павлу пришли, естественно, на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. „Куда ты везешь меня?” — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаха ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: „Потише, молодой человек; ты не с своим

братом связался”. Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ящик — все сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха».

Вся последняя картина, пожалуй, довольно точно сохранила именно пушкинское слово. В 1828 году, когда Титов услышал в гостиной Карамзиных его рассказ, поэт готовил ко второму изданию поэму «Руслан и Людмила», в четвертой песне которой пародировалась баллада Жуковского «Громобой». В данном же случае Пушкин (трудно представить, чтобы на это осмелился сам Титов) шуточно намекнул на самую поэтичную из баллад Жуковского — «Светлана»:

Сели... кони с места враз,
Пьшут дым ноздрями,
От копыт их поднялась
Вьюга над санями.
Скачут... пусто все вокруг,
Степь в очах Светланы;
На луне туманный круг,
Чуть блестит поляны...
.....
Сорвался покров, мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи.
Вдруг... в устах сомкнутых стон...
Силится раздвинуть он
Руки охладелы...

Между прочим, обычно очень деликатный Жуковский сказал (в присутствии Титова), прочитав «Уединенный домик...», издателю: «Охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима».

Возможно, с тем же эпизодом пушкинского (именно пушкинского, а не титовского) рассказа связана и одна до сих пор не расшифрованная помета в черновике XII главы «Евгения Онегина». В 1828 году под датой «19 февраля» Пушкин отметит на полях: «Кучер». Может быть, в этот день случилось поэту заметить на извозчике бляху «№ 666», т. е. с апокалипсическим числом антихриста (ср. в «Откровении Иоанна Богослова»: «Кто имеет ум, тот сочтет число зверя, ибо число это человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть»). Эта деталь скоро пригодилась ему для устного рассказа в салоне Карамзиных, а потом попала в повесть Титова.

Что же касается «главной нити» рассказа, которой воспользовался его молодой знакомец, то соответствующий план мы находим в пушкинских бумагах, относящихся еще к кшиневской поре:

«Москва в 1811 году —

Старуха, две дочери, одна невинная, другая романтическая — два приятеля к ним ходят.

Один развратный, другой Влюбленный бес.

Влюбленный бес любит меньшую и хочет погубить молодого человека. — Он достает ему

деньги, водит его повсюду — Настасья — вдова чиновника. Ночь. Извозчик. Молодой человек ссорится с ним. — Старшая дочь сходит с ума от любви к Влюбленному бесу».

Отражение сходного замысла запечатлено в рабочих тетрадях Пушкина кишиневской и одесской поры — в основном в виде графических сюит, изображающих беса, очарованного видением прекрасной женщины.

К лету 1825 года относится воспоминание А. П. Керн о Пушкине, касающееся того же сюжета: «Когда он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказывал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов...»

На обороте автографа стихотворения «Под небом голубым страны своей родной», датированного 29 июля 1826 года, перечислено несколько заглавий: «Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Дон-Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел I. Влюбленный бес. Дмитрий и Марина. Курбский». Традиционно этот список трактуется как свод драматических замыслов Пушкина, позже частично осуществленных им в «Опыте драматических изучений» («Маленьких трагедиях»). Однако, по остроумной гипотезе современного исследователя В. С. Листова, вполне возможно, что здесь намечен список десяти устных рассказов Пушкина, подготовленных им для развлечения тригорских барышень, — трудно иначе

вообразить, что во второй половине 1820-х годов Пушкин мог обдумывать создание драматических произведений, явно невозможных в печати («Павел I», «Иисус»). По крайней мере один из десяти этих сюжетов остался в репертуаре пушкинских рассказов — «Влюбленный бес». Анна Керн слушала его в Тригорском, Владимир Титов — в салоне Карамзиных. Наверное, рассказывал поэт эту историю и в иных случаях.

Когда в начале XX века стали известны воспоминания, донесшие до читателей приведенный выше рассказ Титова о происхождении сюжета его повести, она была воспринята в качестве сенсации — как новое, не известное доселе произведение великого поэта. Из «Северных цветов» повесть была перепечатана в 1912 году в газете «День», в начале следующего года — в журнале «Северные записки» и тогда же появилась отдельным изданием: «Уединенный домик на Васильевском острове. Рассказ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова. С послесловием П. Е. Щеголева и Федора Сологуба». Владислав Ходасевич видел в этой повести предвосхищение таких «петербургских» произведений Пушкина, как «Домик в Коломне», «Медный всадник» и «Пиковая дама». Действительно, нетрудно найти в них некоторые детали, восходящие к побасенке Пушкина о Влюбленном бесе.

Следует только иметь в виду, что Пушкин вовсе не стремился литературно оформить свой устный рассказ, который, при некоторой намеченной им сюжетной схеме, в каждом слу-

чае был ипровизационен и обращен к слушателям, жаждавшим услышать «страшную историю». Для Пушкина, по сути дела, это был род литературной игры, салонной забавы. Напомним, что, по признанию Титова, в его повести Пушкину принадлежала только «часть вымыслов». Что же касается стиля, то Титов не мог здесь, конечно, состязаться с Пушкиным, да, вероятно, и не стремился к этому.

«Уединенный домик на Васильевском острове» — рядовая фантастическая повесть 1820-х годов. Она пронизана морализаторской тенденцией: патриархальному, набожному укладу простого русского семейства противопоставлена (под знаком бесовского) стихия чужеземного — и в быту, и в обычаях, и в нравах. Вероятно, предметы пушкинского стиля следует заметить прежде всего в самом начале повести и в заключительной фразе: «Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?». Очевидно, прежде всего именно начало и конец титовской повести внимательно выправил Пушкин, когда ознакомился с ней в гостиной Демута.

Рассказ о черте был потерян для Пушкина. Но недаром же он волновал его воображение так долго, недаром следы той же чертовщины исследователи обнаружили в самых задушевных произведениях Пушкина последующих лет, и прежде всего — в поэме «Домик в Коломне», написанной в Болдине 9 октября 1830 года.

Болдинская осень Пушкина...

А с чего, собственно, начиналась она?

Пушкин добрался до далекой деревеньки 3 сентября. Первые дни пошли на обустройство. Но уже 7 сентября помечен первый болдинский автограф.

На листе почтовой бумаги он записывает заголовок «Бесы». Потом уточняет под ним: «Шалость». Черновые наброски этого стихотворения возникли в одной из его рабочих тетрадей годом ранее — почему сейчас, осенью, он вспоминает зимнюю вьюгу? И при чем тут «шалость»?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон, играет,
Дует, плюет на меня;
Вот — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой

Он торчит передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой»...

Стихотворение кончается нешуточно:

...Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне... —

и подзаголовок «Шалость» в автографе зачеркивается.

Бореньем с тяжелыми предчувствиями наполнено стихотворение, написанное на следующий день:

...Мой путь уныл, Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И... 9 сентября, как подарок судьбы, приходит в Болдино письмо от невесты.

Но, прочитав письмо, Пушкин начинает писать сначала не ответ, а странный рассказ, с московскими реалиями, чертовщиной, с мучительным сном и счастливым пробуждением: «Последние пожитки Самсона Прохорова были

взвалены на дрожки без рессор, и бедная кляча в четвертый раз потянулась с Басманной, где находилась лавка гробовщика, на Никитскую...»

Первую фразу пришлось несколько раз выправить: переименован, в частности, герой в Адрияна. Но «Басманная» и «Никитская» останутся. На Басманной улице как раз перед отъездом поэта из Москвы, 20 августа, скончался дядюшка Василий Львович — хлопоты по похоронам несколько задержали отъезд поэта в Болдино.

Весь рассказ о гробовщике был записан в один присест. Лишь иногда, обдумывая дальнейший ход событий, Пушкин начинал по привычке рисовать в рукописи, иллюстрируя написанное. Особенно замечателен тот рисунок, где изображена похоронная процессия: стоящий на тротуаре и пропускающий процессию сам Пушкин (этот автопортрет недавно атрибутовала Л. А. Криваль); дама в широкой шляпе и щупленький господин со вздетыми в горести руками; и последняя уместившаяся на рисунке пара: лысый человек на заднем плане и некий мужчина — слева от него. Но что это? — и одет этот последний в короткий камзол (явно нерусского покроя), да еще не снял (это на похоронах-то!) головного убора — берет с пером! Именно так изображал Пушкин в своих рабочих тетрадях Мефистофеля. А возница — ведь он тоже похож на некое нереальное существо: траурная шляпа делает его подобным фантастическому насекомому с длинным хоботком, и снова в графике Пушкина

можно найти аналогии этому рисунку: изображения бесов. Не на бесов ли похожи и фигурки, облепившие траурный катафалк? — Кто это? Могильщики? — но зачем они здесь?

Под черновой рукописью повести — характерный пушкинский росчерк, рядом с ним — помета:

«9 сентября

Болдино

1830

Письмо от Nat.».

Поперек листа в тот же день набросан план еще одной повести, которая впоследствии получит название «Станционный смотритель» и герою которой писатель передаст имя, первоначально намеченное для гробовщика, — Самсон.

В тот же день Пушкин напишет несколько писем, одно из них — П. А. Плетневу: «Я писал тебе премеланхолическое письмо, милый мой Петр Александрович, да ведь меланхолией тебя не удивишь, ты сам на этом собаку съел. Теперь мрачные мои мысли порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди забежит он в Болдино да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василию отправляюсь, а ты пиши мою биографию... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выйти за меня и без приданого...»

Во втором письме к невесте, написанном спустя два месяца, 4 ноября, мы вновь нахо-

дим зерно замысла первой болдинской повести. Беспokoясь о Наталии Николаевне, оставшейся в Москве, где тоже разразилась холера, Пушкин выговаривает: «Как вам не стыдно оставаться на Никитской во время эпидемии? Так мог бы поступить ваш сосед Адриан, который обделывает выгодные дела, но вы! — право, я вас не понимаю».

Выясняется, что и в тексте повести о гробовщике, и в иллюстрациях к ней отразились живые впечатления писателя, посещавшего свою невесту «на Никитской».

Зарисовки под датой окончания повести заслуживают пристального рассмотрения. Здесь снова изображен возница катафалка. В рисунке похоронной процессии он был представлен в фантастическом облике, что предвосхищало «страшный» колорит дальнейшего повествования. Теперь же он увиден реально: траурная шляпа сдвинута почти на затылок, открывая вполне земное, отнюдь не скорбное лицо. Фантасмагория повести оказалась лишь сном хмельного Адриана, и в заключительной виньетке словно проглядывает улыбка самого писателя. Улыбается и Натали, изображенная чуть ниже.

Не для нее ли придумал свой «страшный рассказ» Пушкин? Подобно тому как несколько лет назад рассказывал дамам подобную историю о Влюбленном бесе?

«Расписался» Пушкин в Болдино, оказывается, «случайно» — решив позабавить невесту «страшной историей», а потом войдя в ритм работы, продолжавшейся легко и импровиза-

ционно. Впоследствии болдинские побасенки будут озаглавлены «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Но в замысле это были, наверное, «Рассказы для Наталии Николаевны».

В одном из них снова мелькнет след «Уединенного домика...», преломленный через «шалость» «Бесы»: «В одну минуту дорогу занесло: окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели хлопья снега; небо слилось с землею...» Эпиграф к повести «Метель» был взят из «Светланы» Жуковского, которую когда-то пародировал Пушкин в рассказе о Влюбленном бесе.





«Я вам благодарен за доброту...»

Удивительна судьба многих пушкинских автографов. Некоторые из них, прежде чем попасть в Пушкинский Дом, в течение долгих лет скрывались в частных коллекциях. Об одной неожиданной находке такого рода сейчас пойдет речь.

Старейший сотрудник Пушкинского Дома Николай Васильевич Измайлов вспоминал: «В октябре 1925 года (...) произошло событие, всколыхнувшее весь литературный, а прежде всего пушкинистический мир: в особняке князей Юсуповых (на Мойке, у Поцелуева моста, в том самом доме, где всего за девять лет до того было совершено убийство Распутина...) при ремонте (...) вызванном передачей особняка работникам просвещения, был обнаружен в стене коридора, ведущего к библиотеке, тайник, а в тайнике небольшая связка бумаг из архива Елизаветы Михайловны Хитрово (...) и ее старшей дочери графини Екатерины Федоров-

ны Тизенгаузен (...) среди них синий конверт, а в нем 27 неизвестных писем Пушкина (26 — к Е. М. Хитрово и 1 — к Е. Ф. Тизенгаузен)! Тотчас дали знать в Пушкинский Дом (...) и через несколько дней драгоценные письма были у нас.

Это была огромная, неожиданная сенсация. О том, что такие письма должны существовать, что Пушкин и Элиза Хитрово были в длительной переписке, мы знали давно... но где они, мы не могли догадаться и считали их потерянными... и вдруг они появились! Находка была тем более удивительна, что, судя по надписям на обложках писем, кто-то — очень неумелый и малознающий — пытался разобрать их и датировать в очень недавнее время, не далее конца XIX или начала XX века. Значит, они не были забыты, в семье Юсуповых о них знали и все-таки скрывали эти замечательные документы от взоров „непросвещенной черни“!»

Как это часто случается, вслед за одной находкой, обогащая ее, последовала и другая... Но это произошло уже спустя много лет — и о ней рассказ впереди.

Сначала следует вспомнить об адресате пушкинских писем.

Елизавета Михайловна была старше поэта на шестнадцать лет. Любимая дочь Михаила Илларионовича Кутузова, девятнадцати лет она вышла замуж за графа Федора Ивановича Тизенгаузена и спустя три года, оставив в России двух маленьких дочерей, отправилась вслед за мужем на театр военных действий.

Здесь осенью 1805 года ей довелось похоронить супруга. О его гибели при обороне Праценских высот во время Аустерлицкого сражения сохранилось несколько строк в истории первой русско-французской кампании: «...любимый зять Кутузова флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон — и пал, пронзенный пулей». Позднее, вспоминая именно это событие, Л. Толстой в романе «Война и мир» опишет подвиг Андрея Болконского при Аустерлице.

Вторично вышла замуж Елизавета Михайловна в 1811 году за генерал-майора Хитрово, который позже был назначен поверенным в делах во Флоренцию, где в 1819 году умер, «оставив, — как свидетельствует современник, — жену в прежалком положении, с долгами и без копейки». Возвратилась навсегда в Россию она лишь в 1826 году. К этому времени ее младшая дочь Дарья Федоровна, или, как ее называли близкие, Долли, была замужем за австрийским дипломатом, графом Карлом-Людовиком Фикельмоном, которого вскоре назначили посланником в Россию.

Знакомство Елизаветы Михайловны с Пушкиным, по всей вероятности, произошло в том же 1826 году, когда поэт вернулся в Москву из михайловской ссылки. Позднее, в Петербурге, Александр Сергеевич становится постоянным посетителем раутов Е. М. Хитрово, о которой П. А. Вяземский писал так: «Вот еще любезная личность, которой миновать не может сочувственное воспоминание. В летописях

петербургского общества имя ее осталось так же незаменимо, как оно было привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах(…) можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий, была и (..) передовая статья с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя, и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок...»

Не вызывает сомнения, что прежде всего эти салоны помнил Пушкин, когда писал последнюю главу романа «Евгений Онегин»:

Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых седирах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

Поэт всегда дорожил добрыми отношениями с Елизаветой Михайловной, хотя они складывались весьма и весьма непросто.

Восторженная от природы, она не только восхищалась стихами Пушкина, но и питала к нему чувства — более чем дружественные. Об этом хорошо знали в тесном пушкинском кругу, где она упоминалась под именем Эрминии (в поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» Эрминия изображена безнадежно влюбленной в равнодушного к ней Танкреда, врачующей его раны, постоянно прибегающей к хитростям, чтобы увидеть его). Пушкина эта

страсть тяготила. В одном из первых своих писем к Элизе Хитрово, относящемся, по-видимому, к 1828 году, он вынужден был охлаждать «возвышенные чувствования» Эрминии: «Хотите ли вы, чтобы я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность? не так ли?»

По убедительной догадке Н. В. Измайлова, в последних фразах речь идет о Музе поэта, о поэзии, что подтверждается строками написанного в то же время стихотворения «Рифма, легкая подруга...»:

...Ты, бывало, мне внимала,
За мечтой моей бежала,
Как послушное дитя;
То, свободна и ревнива,
Своенравна и ленива,
С нею спорила шутя.

Но с тобой не расставался,
Сколько раз повиновался
Резвым прихотям твоим,
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный,
Был и мучим и любим...

Лукавый намек того же свойства можно уловить и в приписке к письму, отправленному в начале февраля 1828 года: «Беру на себя смелость послать вам только что вышедшие 4 и 5 главы Онегина. От всего сердца желал бы, чтобы они вызвали у вас улыбку».

На первый взгляд, это пожелание непонятно. И четвертая, и пятая главы романа в целом далеки от шуточного настроения первых онегинских глав; здесь уже нарастает тревожное ожидание трагических событий, вылившихся в дуэль Онегина с Ленским. Но начинается четвертая глава афористическими строками:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей, —

а в следующей строфе Елизавета Михайловна должна была прочитать горькие для себя строки:

Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах, —

и далее еще следовала отповедь Онегина влюбленной в него героине...

Надо полагать, что Елизавета Михайловна поняла намек, но в самоотверженной любви своей была готова все простить поэту и, подобно Эрминии, рвалась облегчать страдания больного (Пушкин в это время растянул ногу и не выходил из дому). Спустя четыре дня он вынужден вновь отписать ей: «Такой скучный больной, как я, вовсе не заслуживает столь лю-

безной сиделки, как вы, сударыня. Но я весьма признателен за это чисто христианское и поистине очаровательное милосердие. Я в восхищении, что вы покровительствуете моему другу Онегину; ваше критическое замечание столь же справедливо, как и тонко, — как и все, что вы говорите; я поспешил бы прийти и выслушать все остальные, если бы не хромал еще немного и не боялся лестниц».

За всей этой игрой намеками нельзя не заметить, что Пушкин по-своему осторожен и деликатен: он не хочет ссоры, Елизавета Михайловна ему дорога, он ценит ее живое участие и искренно хочет остаться ее другом. Однако каждое поползновение на опеку решительно им пресекается. Обладавшая связями в высшем свете, в качестве дочери знаменитого полководца близкая ко двору, она готова стать посредницей между сильными мира сего и беспокойным поэтом.

Пушкин возражает: «С вашей стороны очень любезно, что вы принимаете участие в моем положении по отношению к мэтру (имеется в виду, конечно же, Николай I. — С. Ф.). Но какое место, по-вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и бумагам(…) Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого».

Это письмо написано в мае 1830-го года. Двумя годами раньше поэт так же уклонялся от встречи с митрополитом Филаретом, кото-

руку готова была устроить ему Елизавета Михайловна.

Филарету стали известны стихи Пушкина, написанные им 26 мая 1828 года, в день двадцатидевятилетия:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум.

Столь мрачных строк не так уж и много в поэтическом наследии Пушкина. Но 1828-й год был для него особенно тяжел — по многим причинам. В Сенате и в Государственном совете рассматривалось дело о пушкинском стихотворении «Андрей Шенье», в котором усмотрели воззвание к революции. До правительства дошла также юношеская поэма «Гавриилиада» — и поэту грозит едва ли не худшее, чем прежние ссылки. Его уже многие чураются, как зачумленного. Вероятно, по этой причине поклонник его таланта, но вельможный Алексей Николаевич Оленин внятно намекает, что мечта поэта о сватовстве к его дочери Анне совершенно неосновательна. И в

то же время даже ближайшие друзья готовы обвинить его, заключившего, по собственным словам, мир с правительством, в ласкательстве перед властью! Наконец, уже началась травля Пушкина в журналах (она не прекратится теперь до самой его кончины).

Можно понять, как терзается, как сочувствует обожаемому поэту Елизавета Михайловна. В Пушкинском Доме сохранилась копия стихотворения «Дар напрасный...», переписанная ее рукой. Истовая христианка, она привезла стихи митрополиту, и Филарет увещевает грешника-поэта, перефразируя его же строки:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана... и т. п.

Елизавета Михайловна уже предвидит, что благодать снизойдет на Пушкина, если он услышит эти вирши из уст митрополита. Но Пушкин иронически откликается на это приглашение: «Я не смогу представить себя в ваше распоряжение, хотя, не говоря уже о счастье быть у вас, одного любопытства было бы достаточно, чтобы привлечь меня к вам. Стихи христианина, русского архиерея, в ответ на сатирические куплеты! Да ведь это в самом деле находка!»

Все это так. Дружба Пушкина с Элизой Хитрово была непростой и в чем-то с его стороны настороженной, и все-таки это была дружба! Письма, найденные в тайнике юсуповского дворца, неопровержимо свидетельствуют

об этом. До этой находки, помня о некоторых иронических отзывах об «Эрминии», исходивших от Пушкина и его приятелей, пушкинисты готовы были оценить их отношения как чуть ли не анекдотичные.

Но задумаемся: двадцать шесть писем и записок к одному адресату... Ведь это же в эпистолярии Пушкина явление из ряда вон выходящее! До нас дошло около восьмисот писем поэта, дружеских, любовных, официально холодных, деловых... Конечно, это далеко не все пушкинские письма. И все же можно уверенно сказать, что мало к кому Пушкин писал так часто. Да еще на протяжении всего четырех лет.

Письма к Елизавете Михайловне написаны по-французски — так он обычно женщинам и писал, за редчайшим исключением (по-русски он обращался лишь к коллегам-писательницам да к жене). Но именно на фоне всей «женской» переписки Пушкина заметно своеобразие писем к Елизавете Михайловне Хитрово. Отметим, что ни в одном из них нет обязательного, казалось бы, обращения. Поэтому они кажутся порой по-приятельски грубоватыми, порой — сугубо деловыми. Есть в них необычайная для «женских» писем серьезность. Часто Пушкин касается политических вопросов — особенно много в начале 1830-х годов пишет о событиях французской революции. Это и понятно: через Хитрово до Пушкина доходили сведения о политических событиях в Европе — порой конфиденциальные, известные только в дипломатических кругах. Неуди-

вительны отзывы Пушкина о современной французской литературе, о романах Бальзака, Стендаля, Гюго и других писателей так называемой «неистовой школы», расцвет которой также связывался с революционным «развержением умов», и потому эти романы в Россию по официальным каналам не допускались. Так что подобные отклики в письмах Пушкина, можно сказать, обязательны: возвращая очередной роман, он должен был поблагодарить за него и высказать, хотя бы вкратце, свое мнение о нем.

Но это не умаляет значение пушкинских писем к Хитрово как редчайшего материала для суждений о политических и литературных взглядах поэта. Не забудем к тому же, что именно от нее он получал книги, необходимые для исторических занятий, как это выясняется из записки, посланной из Царского Села в июне 1831 года: «...пользуюсь случаем, сударыня, чтобы просить вас об одном одолжении. Я предпринял исследование французской революции, покорнейше прошу вас, если возможно, прислать мне Тьера и Менье. Оба эти сочинения запрещены...» Спустя несколько дней Пушкин благодарит: «Спасибо, сударыня, за „Революцию“ Менье...»

Но только ли признательность за информацию и благодарность за книги согревают пушкинские письма? Отнюдь нет. Прежде всего, они нередко вполне серьезны и в том смысле, что, уважая ум корреспондентки, Пушкин рассчитывает на полное понимание ею лаконичных оценок происходящего: «Как

я вам благодарен за ту доброту, с которою вы посвящаете меня в европейские события! — пишет он из Москвы 21 августа 1831 года, — Здесь никто не получает европейских газет и в области политических мнений оценка всего происходящего сводится к мнению Английского клуба, который решил, что князь Дмитрий Голицын (генерал-губернатор. — *С. Ф.*) был неправ, издав ордонанс о запрещении игры в экарте (азартная карточная игра. — *С. Ф.*). И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века...» Заканчивается же письмо шуткой, в которой обнаруживается, как глубоко и верно Пушкин понимал текущие события, подтверждая отзыв о нем Мицкевича: «Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентских прений».

Действительно, едва только до Пушкина через Е. М. Хитрово дошли сведения об Июльской революции во Франции, он сразу же пронищательно замечает: «Те, которые ее (республику. — *С. Ф.*) только что хотели, ускорили коронацию Луи-Филиппа; он обязан им дать места камергеров и пенсии. Брак мадам Жанлис с' Лафайетом был бы вполне уместен, и венчать их должен бы был епископ Талейран. Так была исчерпана революция».

Для подробного комментария этой емкой шутки, всех ее злободневных и сравнительно-исторических оттенков потребовалось бы не-

сколько страниц. Отметим главное. Шутливое объединение Пушкиным имен 84-летней Жанлис, 78-летнего Лафайета и 76-летнего Талейрана подводит точные итоги Июльской революции 1830 года, своеобразной пародии на Великую французскую революцию конца XVIII века. Июльская революция закончилась компромиссом: боясь решительного развития событий, буржуазия поспешила возвести на престол нового короля, Луи-Филиппа, некогда воспитанника сентиментальной и скучной писательницы Жанлис. И в провозглашении нового короля объединились и славный в прошлом республиканец генерал Лафайет, и бывший епископ, а потом политик, служивший всем режимам, старая лиса Талейран.

Для того чтобы так пошутить, нужно было обладать быстрым и пронзительным умом Пушкина. Но здесь не менее важно отметить и то, что, адресуясь к Елизавете Михайловне Хитрово, поэт не сомневается в ее способности понять и оценить по достоинству эту шутку...

Есть в пушкинских письмах и особая задушевность — та ответная волна доброты, которую Елизавета Михайловна, конечно же, заслуживала. «К числу сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрово, — писал Вяземский, — едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено, но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь неблагоприятных последст-

вий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого».

Письма Пушкина, адресованные различным людям, очень отличаются по тону, интонациям, по общему колориту: мы всегда угадываем в них психологические черты того или иного адресата. Чуткий к собеседнику поэт как бы говорит с ним на его языке. Это было, несомненно, важнейшей чертой творческого гения Пушкина, проявлявшейся не только в его стихах, — но и в повседневном общении, всегда духовно обогащавшем его. Замечено, что, набрасывая свои автопортреты — а в рукописях поэта их сохранилось множество, — он порой отчасти стилизует свои черты, угадывая в себе сходство с другим, чем-то дорогим ему человеком.

Поэтому-то переписка Пушкина по-особому интересна; этот своеобразный автобиографический роман не только воссоздает сложную судьбу автора, но и раскрывает личности многих его современников.

Таковы и письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово.

Только верному и чуткому другу мог он так написать, получив в январе 1831 года неожиданное известие о смерти Антона Дельвига: «Смерть Дельвига нагнала на меня тоску. Независимо от его прекрасного таланта, это была отлично устроенная голова и незаурядная душа. Он был лучший из нас. Наши ряды начинают редеть».

И конечно же, Пушкин никогда не забывал, что Елизавета Михайловна — дочь Куту-

зова, перед которым он преклонялся. Особенно часто поэт вспоминал его в 1831 году, когда обстановка в Европе накалилась, и Пушкину казалось, что могут повториться события памятного для всех и славного 1812 года.

В письме от 14 сентября 1831 года Пушкин посылает стихи, в которых он описывает гробницу Михаила Илларионовича Кутузова в Казанском соборе:

Перед гробницею святой
Стою с поникшей головой.
Все спит кругом. Одни лампы
Во мраке храма золотят
Столцов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит их властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет;
Он русский звук нам издает,
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Возвал к святой твоей седине:
Иди, спасай! — Ты встал и спас...

Полный автограф этих стихов Пушкина стал известен только из этого письма от 14 сентября 1831 года.

Письма Пушкина к Хитрово, найденные в тайнике бывшего юсуповского дворца, обрываются довольно неожиданно — 1832 годом. Од-

нако едва ли и после этого переписка между ними прервалась — их неизменно дружеское общение продолжалось и в следующие годы. Известно, например, какое горячее участие приняла Елизавета Михайловна в 1834 году в улаживании обрушившихся на поэта неприятностей, связанных с намерением его выйти в отставку.

Дружба Пушкина с Хитрово была всем известна. Елизавета Михайловна была в числе тех лиц, которым для передачи поэту был направлен анонимный пасквиль, предрешивший дуэль с Дантесом.

Приятель поэта граф Владимир Александрович Соллогуб вспоминал позднее: «Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой. В первых числах ноября (1836 года. — *С. Ф.*) она велела однажды утром меня позвать и сказала: „Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое, запечатанное письмо с надписью: «Александр Сергеевичу Пушкину». Что мне с этим делать?» ...

Я отправился к Пушкину (рассказывает Соллогуб. — *С. Ф.*) и, не подозревая насколько приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

„Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово: это мерзость против жены моей (...). Жена моя ангел, никакое подозрение

коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово”».

Это письмо Пушкина до нас не дошло. Но теперь нам известен ответ Елизаветы Михайловны, обнаруженный Т. Г. Цявловской в одном из московских архивов: «Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий позор — уверяю вас, что я вся в слезах, — мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную клевету. На коленях прошу вас не говорить никому об этом глупом происшествии...»

Не подозревая еще о том, что пасквиль размножен во многих экземплярах, да и не зная еще толком его содержания, Елизавета Михайловна считала, что в первую очередь он задает ее и предназначен лишь для того, чтобы разорвать дружеские отношения с поэтом. Нам, знающим трагическое развитие последующих событий, письмо ее может показаться эгоцентричным. Но, может быть, зная горячий нрав Александра Сергеевича, она самоотверженно все относила к себе и, стремясь предотвратить роковую дуэль, старалась внушить ему мысль о том, что грязный пасквиль марает только ее?

Зная доброе сердце Елизаветы Михайловны, мы можем предположить, что в этом была главная цель ее письма.

Важно и другое: как выясняется, в юсуповском особняке обнаружены не все письма поэта к ней. Было, по крайней мере, еще одно. Возможно, были и другие. Где они? Этого мы пока не знаем...

Остается сказать, что Елизавета Михайловна Хитрово пережила Пушкина всего двумя годами. Жизнь ее была полна событиями, но самым сокровенным для нее стала дружба с поэтом. Вспоминая Пушкина, мы всегда помним и его друзей...





Весной 1828-го

Прибывший из Персии в Петербург вестником Туркманчайского мира Александр Сергеевич Грибоедов только на пятый день несколько оправился от мучительного путешествия по весенней распутице.

Первый визит он нанес Марии Шимановской.

Объехавшая всю Европу, восхищавшая своим мастерством и Россини, и Гете, пианистка окончательно поселилась теперь в Петербурге на Итальянской улице. Она редко выступала с публичными концертами, но по понедельникам устраивала домашние «музыкальные утренники».

19 марта 1828 года Грибоедов встретил здесь множество старых знакомых. Наиболее интересен был ему Пушкин, которого он помнил девятнадцатилетним юношей, только-только окончившим Лицей. И сейчас — особенно рядом с важным Жуковским и сухова-

тым Вяземским — в пушкинских порывистых движениях, в легкой танцующей походке, в заливистом смехе и в особой нецеремонности разговора проглядывало что-то юношеское. Но годы и лишения не прошли даром: характерный профиль заострился, лоб прорезали глубокие морщины, бакенбарды были пышны, но на висках волосы заметно поредели. Лицо мгновенно принимало угрюмое выражение, как только улыбка гасла.

В молодости они познакомились, но не подружились. Однако, расставшись десять лет назад, поэты никогда не теряли друг друга из виду. В начале 1825 года Пушкин завез в Михайловское только что пошедшее по рукам «Горе от ума». Прослушанная наскоро, меж разговорами обо всех и обо всем, комедия не во всем удовлетворила Пушкина, нашедшего погрешности и в плане, и в трактовке характеров. Впрочем, излагая свои впечатления в письме к Александру Бестужеву, он оговорился: «Покажи это Грибоедову. Может быть, в ином я ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову позже, когда уже не мог я справиться. По крайней мере, говорю прямо, как истинному таланту».

И сейчас Пушкин, казалось, обрадовался встрече. Про себя Грибоедов не мог не оценить умной деликатности сотоварища по перу: тот не стал ни осведомляться, что нового написал автор «Горя от ума», ни поздравлять с царскими милостями — две эти дежурные темы были равно неприятны обоим. Вместо того Пушкин

будто бы вскользь спросил, довелось ли тезке прочесть недавно опубликованные отрывки из седьмой главы «Онегина» с описанием московских впечатлений Татьяны. Строфы эти были прекрасны. И приятно было, что они предварены эпиграфом из «Горя от ума» и написаны отголосками комедии. Но особо поразило драматурга иное — стихи, посвященные Наполеону в Петровском замке:

Отселе в думу погружен
Глядел на грозный пламень он.

Дело в том, что в намеченном плане драмы о 1812 годе Грибоедов предусмотрел такую же сцену. Об этом рано было еще говорить, но более всего на свете сейчас хотелось довести до конца задуманное: пьесу о временах столь недавних и так не похожих на нынешние, о герое, крепостном крестьянине, который после войны возвращается под палку господина.

А Пушкин моментально переменялся: сейчас он был зол и, чувствовалось, едва удерживался от резких слов. Поэт вспомнил о нелепой критике, в которой, указывая на погрешности «противу языка и смысла», его учили правилам грамматики и риторики. И снова Грибоедов услышал свое, выстраданное.

«Он находит, — фыркнул Пушкин, — в главах Онегина девяносто одну мелочь и еще сотни других, цепляющих людей, учившихся по старинке. Ему не нравятся, между прочим, слова „молвь” и „топ”, но „топ” вместо „то-

пот” я слышал во многих русских губерниях! Да вслушайтесь в простонародное наречие — в нем можно научиться многому, чего не найдете в наших журналах».

Помнил ли Пушкин, что еще в 1816 году Грибоедов написал статью в защиту катенинской баллады, где также обрушился на нелепые придирки к языку, черпающему свою силу в простонародном наречии? По-видимому, не забыл, раз завел разговор о том же. Впрочем, сейчас этой теме было бы касаться неделikatно: как-никак грибоедовская статья была направлена против сглаженного, обращенного к «милым дамам» языка Жуковского. Да и хозяйка уже направилась к фортепьяно.

Зазвучала музыка: полный истомы, нежности и меланхолического очарования полонез Огиньского. На глазах соотечественников пианистки заблестели слезы. Она же, быть может, чуть щеголяла своей отточенной техникой, переходами из тона в тон, из ноты в ноту, блеском высоких пассажей. Пальцы падали на клавиатуру подобно крупным каплям дождя, которые рассыпались жемчугом по бархату. Но техника — техникой, главное же — в музыке ее звучало неподдельное, искреннее чувство, отзывающееся в самой манере игры — напевной, словно проговаривающей звуки.

В паузе между номерами Грибоедов бросил взгляд на альбом, лежащий подле него на столике, перелистнул несколько страниц. На разных языках польскую пианистку приветствовали те, которым посчастливилось слышать ее музыку. Томас Мур вписал сюда стихи Байро-

на, созданные перед отъездом в Грецию: о мужественной преданности, которая если и исчезнет, то только с последним дыханием, с последним пожеланием счастья другу. Изящно грустил Шатобриан, балагурил Денис Давыдов, меланхолически радовался Карамзин. Последняя запись в альбоме была сделана всего несколько дней назад:

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...

Александр Пушкин.

В конце марта пошла лавиной пасхальные обеды, обильные, праздничные, многословные. Говорили о подъеме первой колонны нового Исакиевского собора, и непременно какой-нибудь очевидец с восторгом сообщал, что на установку машины было затрачено чуть более часа. Дамы щебетали о вновь отделанных в Зимнем дворце покоях вдовствующей императрицы, восхищаясь императором, который встретил Марию Федоровну на пороге апартаментов с хлебом и солью. Мужчины обсуждали производство министра иностранных дел графа Нессельроде в вице-канцлеры. Когда эти темы иссякали, все вместе с удовольствием удивлялись необычной погоде: накануне выпал обильный снег и по городу восстановились санные пути.

Еще до начала пасхальной недели к Грибодову зашел бывший сотоварищ по Благородному пансиону, а ныне издатель журнала

«Отечественные записки» Свинын с непременным приказанием быть у него на обеде. По случаю, журналист занес свой альбом, наказывая приложить к нему бесценную руку и потом передать соседу по Демуту трактиру, Пушкину, с той же целью.

Последний раз Грибоедов виделся со Свиныным летом 1825 года в Крыму — тогда от него удалось скрыться, поднявшись на Четырдаг, куда сей любитель путешествий не решился забраться по причине ненастной погоды. Что, впрочем, не помешало ему тиснуть в своем журнале заметку о встрече с драматургом и о том, как тот любит посещать высочайшую гору Тавриды, чтоб питаться чистым горным воздухом, вдохновенным для пламенного воображения поэта-психолога.

Сейчас Четырдага поблизости не было.

В назначенный день Грибоедов отправился вдвоем с Пушкиным из гостиницы Демута в дом Жербина на углу Михайловской площади и Инженерной улицы, где Свинын квартировал. Там уже собралось порядочное количество гостей, в основном журналистов и писателей. Приглашая их на пасхальный обед, хозяин восторженно предуведомлял каждого, что ожидается непременно присутствие Грибоедова Персидского.

Свинын обожал знаменитостей потому, что сам был знаменит. Объехавший почти всю Россию (что Россию? — весь белый свет), он был начинен всяческими историями. Он знал, что ему плохо верят, что по Петербургу ходят про него злые стихи:

Павлушка, медный лоб, приличное прозвание,
Имел ко лжи большое дарованье;
Мне кажется, еще он в колыбели лгал, —

и потому, дорожа залученным собеседником, начинал свой очередной рассказ осторожно, описывая, например, красоты Ниагарского водопада, у которого ему действительно (и в журналах об этом сообщалось!) случалось бывать, но, распалившись, и сам не без некоторого удивления вдруг обнаруживал себя уже в клокочущей водяной пучине, спасающим прекрасную ирокезку...

Но сегодня все должны были убедиться, как он необыкновенно правдив. Вот они — и Грибоедов, и Пушкин, пришедшие вместе.

Гостям сначала был показан «музеум». Здесь были картины Левицкого, скульптуры Шубина и Козловского, мозаика Ломоносова. Но тут же демонстрировался чепчик, сплетенный из паутины, а пуще того — ковш Бориса Годунова и кашник царя Алексея Михайловича (доказательством их подлинности было, разумеется, честное слово хозяина).

Обед начался как-то слишком чинно. Хозяин, с восторгом глядя на грудь поэта, украшенную орденом с бриллиантами, всячески старался разговорить Грибоедова, убеждал не хранить втуне запаса метких наблюдений, которых, несомненно, огромное множество у такого любителя путешествий.

— Нет, я не путешественник, — отговаривался Грибоедов, — судьба закидывала меня

далеко, но по доброй воле, из одного любопытства никогда бы я не расстался с родными пенатами...

Свиньин не верил: Восток так роскошен и загадочен, особенно в сравнении с угрюмым Севером!

— Это смотря на чей взгляд, — отрывисто откликнулся Грибоедов: он начинал злиться. — Помнится, увидев великолепный каменный мост на Куре, я сказал сопровождавшему меня переводчику, что Петербург ничего такого не вмещает, как он, впрочем, ни красив, ни великолепен, особенно в описании Павла Петровича Свиньиного. «Представьте, — ответил он мне, — восемь раз побывать в Персии и не видать Петербурга, это не ужасно ли!»

Все ждали шутки. Грибоедов же молча ел.

Павел Петрович, почтительно дождавшись, когда он прожевал, спросил умоляюще:

— Ну а ты? Что ты на это ответил?

— Сказал ему, что не той дорогой взял, — буркнул Грибоедов.

Хозяин довольно засмеялся. Все его поддерживали.

Разговор не клеился. Свиньин снова приступил с расспросами — теперь о шахе, мудр ли он?

— Изрядно. Как-то его командующий артиллерией делал учение с пальбою. Шах потребовал его к себе. «К чему была вчерашняя пальба?» — «Для обучения войск вашего величества». — «Чего она стоила?» — «Две тысячи рублей. Из моих собственных». — «За-

плати столько же шаху, чтобы не палили без спросу».

Снова натужно посмеялись. Грибоедов оглянулся вокруг. И заметил, что за столом был один по-настоящему веселый человек — Пушкин. Глаза его лучились смехом — он оценил вполне комизм ситуации: хозяин потчевал гостей знаменитостью, но блюдо оказалось жестковатым.

Выручил Греч, скаламбурируя: «Monsieur est trop perçant» («Господин слишком пронизывателен»; или «совершенный персиянин» — Persan).

И Свинын, наконец, отстал. Разговор за столом мало-помалу наладился. Грибоедов отмалчивался. Воспоминания, поневоле пробужденные, продолжили свой бег. Припомнилось первое посещение Персии, еще в 1819 году.хлопоты за пленных. Бешенство и печаль. Клятва душу положить за несчастных соотечественников. Вспоминалось, как швыряли камнями в колонну солдат, возвращаемых им на родину. Песни в пути: «Как за реченькой слободушка», «Во поле дороженька». Пели замечательно, и Грибоедов спросил одного из солдат: «Спевались что ли в Персии». «Какие, ваше благородие, песни? — ответил тот. — Бывало, пьяные без голоса, трезвые о России тужат...»

После обеда многие сразу же ушли, кажется, не совсем довольные. Грибоедов не сомневался, что они разнесут по городу весть о том, что, став статским советником, драматург — бывший драматург! — заважничал. Ему было

досадно. И немного жалко приунывшего Свиньина.

Поэтому, когда в гостиной осталось несколько человек, он, против обыкновения, охотно согласился прочесть отрывок из новой своей пьесы. Это была трагедия о грузинском князе, выменивающем за отрока, раба своего, — коня, о кормилице князя, с помощью злых духов Али отомстившей за своего сына, о дочери князя, полюбившей русского офицера и погибшей от пули отца. Пьеса была дописана до конца, но печатать ее было рано. Может быть, через год, через два он вернется к ней и тогда...

Читать трагедию из грузинской жизни в присутствии автора «Кавказского пленника» значило вступать с ним в поэтическое соревнование. Грибоедов понимал это. В то время многие поэты на все лады перепевали кавказскую поэму Пушкина. У Грибоедова же был свой голос, он это чувствовал.

Сам стих пьесы, напряженный и оголенный (в нем почти не было эпитетов), звучал не по-пушкински:

Так будь же проклят ты и весь твой род.
И дочь твоя, и все твоё стяжанье!
Как ловчие, — ни быстриною вод,
Ни крутизною скал неотразимы,
Но скачут, по ветрам носимы,
Покуда зверь от их ударов не падет,
Истекший кровию и пеной, —
Пускай истервана так будет жизнь твоя,
Пускай преследуют тебя ножом, изменой
И слуги, и родные, и друзья.

...Почти месяц Павел Петрович ждал свой альбом. Потом решил поторопить Грибоедова своими стихами:

Для трех твоих и Пушкина бесценных строк
Готов три года дожидаться.
Но, видишь, одному поэту вышел срок
И завтра в армию пришлось отправляться.
А мне хотелось бы его завербовать,
Вот почему прошу альбом мой мне прислать.

Альбом был незамедлительно возвращен с посыльным. «Бесценных строк» Грибоедова и Пушкина в нем не оказалось.

Из всех пасхальных обедов остался в памяти один — у старинного приятеля Михаила Юрьевича Виельгорского. Здесь были еще только Пушкин, Жуковский и Вяземский. После того как трапеза закончилась, хозяин и Грибоедов долго музицировали. Когда же подали кофе и каьяны, неожиданно вспыхнул спор.

К слову о чем-то Пушкин, смеясь, заметил:

— Браните мужчин вообще, разбирайте их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно: они составляют один народ, одну секту.

— Женщины олицетворяют нравственную силу, которую управляется человечество, — негромко откликнулся Грибоедов.

Все обернулись к нему, ожидая застольной шутки. Но он продолжал вполне серьезно:

— Вдумайтесь в греческую мифологию — она объяснила эту великую истину. Предоставляя физическую власть над землею мужчинам, мифология подчиняет нравственный мир женщине: Афродите, то есть красоте, Минерве, то есть мудрости, Юноне, то есть твердости и постоянству. Музы тоже женщины. Нет, кто никогда не любил, кто не подчинялся влиянию женщин, тот не произвел и не произведет ничего великого. Даже Наполеон до тех пор был счастлив, пока очарование Жозефины действовало на него. Это народное предание, скажете вы. Может быть, оно и несогласно с историей, но я люблю народные предания, потому что они основываются на нравственной истине, а история часто разведена на лжи и предположениях мудрецов, которым мир представляется порой вверх ногами через стекло их кабинетной недогадливости.

— Ну, — улыбнулся Вяземский, — если говорить о французах, то, как недавно заметил в «Северных цветах» один аноним (он взглянул на Пушкина), — в этой земле, прославленной своей учтивостью, грамматика торжественно провозгласила мужской род благороднейшим.

Пушкин с легким вызовом продолжил цитату:

— Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, — шуточно откланялся он Грибоедову, — не

предполагают, я думаю, в женщинах ума, равного нашему...

— У женщин есть особое чувство — такт. Следуя ему, женщина редко ошибается. Но оракул этот действует только в сердце, которое любит. Мать, сестра, жена, любимая видят в будущем и постигают внутренним чувством лучше, нежели мужчина умствованием, что полезно, что вредно для сына, брата, мужа, любимого. Азиаты до тех пор останутся варварами, невеждами, а следовательно, и бессильными в политическом мире, пока не признают власти женщин и не подчинятся их нравственной силе. Петр Великий начал с того, что растворил терема. Те между нами, которые не признают этой нравственной власти и силы женщин, — те же азиаты, те же варвары.

Все это было слишком серьезно для холостяцкого застолья, но, как порою с ним случилось, Грибоедов увлекся. Музыка еще звучала в его душе. На щеках выступил румянец. Только сейчас он понял вдруг, что недавно приводило его в недоумение, — понял, почему его ученица — там в Тифлисе — юная Нина Чавчавадзе поражала его, так много испытавшего в жизни, своей необыкновенной проницательностью.

К счастью, сегодня он был среди своих. Когда, надевая очки, Грибоедов искоса оглядел собеседников, он убедился, что его поняли. И еще — по внезапно возникшей в комнате атмосфере какой-то грустной торжественности — безошибочно угадал, о ком вспомнил каждый из присутствующих здесь: о Екатерине

не Грубедкой, о Марии Волконской, отправившихся вслед за мужьями в далекую Сибирь.

— Одна дама сказывала мне, — словно отгоняя наваждение, вздрогнул Пушкин, — что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обличает свое незнание женщин. В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою и тонкостью чувства и разума, существами низкими в сравнении с нами! Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые Бог знает почему.

И предупреждая опасное развитие темы, Михаил Юрьевич, человек светский и пронзительный, заключил разговор анекдотом о екатерининском генерал-губернаторе Польши Кречетникове, который как-то возвратился в столицу, не сумев исполнить высочайшего приказания, и был уничтожен гневом не внимающей его оправданиям императрицы.

— ...Наконец императрица умолкла и стала ходить взад и вперед по комнате, — чуть грустив, повествовал Виельгорский. — Кречетников стоял ни жив, ни мертв. Через несколько минут государыня снова обратилась к нему и сказала уже гораздо тише: «Скажите же мне, какие причины помешали вам исполнить мою волю?» Кречетников повторил свои прежние оправдания. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться в своей

вспыльчивости, сказала ему с видом совершенно успокоенным: «Это — другое дело. Зачем же ты мне тотчас этого не сказал?»

...Особенно сердечно прощался в тот вечер с Грибоедовым промолчавший весь обед Василий Андреевич Жуковский.

17 апреля петербургские газеты опубликовали декларацию о войне с Турцией.

На следующий день в кабинете Жуковского сошлись Грибоедов, Пушкин, Вяземский и Крылов. Жил Василий Андреевич в Шепелевском доме, соединенном с Зимним дворцом. Парадные этажи этого дома предназначались для ушедших на покой фрейлин века минувшего; Жуковского же, как воспитателя наследника, поселили на антресолях.

Грибоедов не совсем уютно чувствовал себя в огромном — впрочем с низкими потолками — кабинете, обставленном с тонким артистическим вкусом. Остальные здесь пообвыклись. Крылов занял весь диванчик, рассчитанный по крайней мере на троих. Пушкин метался взад и вперед, как загнанный зверь. Сегодня ему назначена была встреча с Бенкендорфом. Поэт непременно хотел попасть в действующую армию, наскучив петербургской сутолокой. По слухам — а петербургские слухи порой были достовернее газет — просьба его была удовлетворена уже несколько дней назад. Но в канцелярии III Отделения только что ему в приеме отказали и не советовали сегодня Бенкендорфа дожидаться. Без разрешения же

III Отделения поэт не мог выехать никуда далее петербургской округи.

И Вяземский, также подавший прошение о следовании за Главной квартирой, ответа до сих пор не получил.

Грибоедов мечтал об отставке и втайне надеялся, что Жуковский знает, как решилась его судьба.

Крылов ничего не ждал для себя, но все ему было любопытно.

Василий Андреевич отмалчивался. И первым, кто понял смысл этого сочувственного молчания, был умница Крылов. Ни Пушкина, ни Вяземского, конечно, на театр военных действий не допустили.

Действительно, Жуковский уже знал, что великий князь Константин Павлович, прослышав о желании Пушкина и Вяземского следовать за армией, отписал из Варшавы Бенкендорфу: «Они не принадлежат к числу тех, на кого можно положиться: точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства». Но обмолвиться об этом, даже намеком, Жуковский не имел права: тайны царской семьи он соблюдал неукоснительно. Тягостно было видеть мечущегося Пушкина и быть не в силах помочь ему.

А Крылов завел речь о том, что стремиться в действующую армию людям штатским противостоит. Война дело военных. А вот что бы ему хотелось, так отправиться в загра-

ничное путешествие — и не в Азию, а в Европу.

Крылов — и путешествие, сии феномены были из разных миров.

Он и сам знал это. Одному ему с дорогой не совладать, а кабы молодые люди его поддержали, он готов. Государь скоро отбудет в армию, за ним — половина важных господ. Оставшаяся знать поразбредется по загородным дачам. От скуки можно спастись только дорогой.

Сначала увлекся Вяземский. Потом и Пушкин, и Грибоедов пустились в обсуждение предложенного плана. Решено было отправиться в июне, когда станет ходить между Кронштадтом и Лондоном новый пироскаф. Потом — недели на три в Париж, а к осени можно вернуться в Петербург.

— Мы будем показываться в городах как жирафы, — витийствовал Вяземский, — не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, заговорят о нас. Приехав же домой, издадим свои путевые записки: вот опять золотая руда. Правда, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие.

Иван Андреевич важно поддакивал. Ни в какое путешествие он, конечно, не собирался. Но молодежь отвлеклась от черных мыслей, и он радовался, что проделка удалась. Кто знает, может быть, дело и сладится: трех русских поэтов для Европы будет вполне достаточно.

Не сладилось дело. Пушкину и Вяземскому строго было приказано оставаться в Петербур-

ге. Спустя несколько дней был призван к Нессельроде и Грибоедов, который по высочайшей воле был назначен полномочным министром в Персию, невзирая на его малый чин. Отказаться от этой милости было нельзя...

Начались хлопоты по организации персидской миссии, которые длились уже до самого отъезда поэта из Петербурга.

21 мая Вяземский, собираясь отбыть в Москву, разослал своим друзьям «циркулярную» записку: «Да будет известно честным господам, что я завтра еду в Царское Село и предлагаю в четверг вечером или в пятницу в обеденное время, или в ужинное составить прощальный пикник, где, как и у кого угодно. Вот предлагаемые, или, лучше сказать, предполагаемые собеседники: Алексей Оленин-младший, Грибоедов, Киселев, Пушкин, князь Сергей Голицын, Шиллинг, Мицкевич».

Пикник решили заменить прогулкой в Кронштадт, на пироскафе.

Паровой стимбот до Кронштадта начал ходить с 1815 года. Такое развлечение было в России, да и вообще в Европе, в диковину и сначала вызывало недоверие. Со временем, однако, столичная публика привыкла к новинке, и во второй половине 20-х годов пароход (пироскаф) делал в день два рейса, отправляясь из устья Невы, от Матисова острова.

25 мая на Английской набережной, у завода шотландца Берда, владельца невских пароходов, с утра собралась примечательная ком-

пания. Первым прибыл заспанный Вяземский, выбравшийся из Царского Села от Карамзинных глубокой ночью. Вместе с Олениным-младшим, чиновником Азиатского департамента, приехал его отец, президент Академии художеств, и сестра, двадцатилетняя Аннет, около которой сразу же появился влюбленный в нее Пушкин. Постепенно подошли и остальные — в том числе барон Шиллинг, на днях произведенный в действительные статские советники. Сорокадвухлетний барон был человеком разносторонних способностей: знал и китайский язык, и мало кому ведомое в ту пору электричество. Грибоедову было известно, что составление шифров персидского посольства поручено также Шиллингу.

К девяти часам все разместились на верхней палубе близ огромной черной трубы. Колеса зашлепали по воде, и пароход с «невероятной скоростью» (десять верст в час) начал удаляться от Петербурга — вскоре сквозь дымку тумана можно было различить вдали только шпиль Петропавловского собора. Исчез из глаз правый берег залива, дикий и пустынный, по левому же — непрерывной полосой тянулись деревеньки и дачи. Впереди замаячила кронштадтская башня оптического телеграфа, особо занимавшая Шиллинга, — уже в то время он обдумывал идею электромагнитного телеграфа, осуществленную четыре года спустя, после возвращения барона из китайского посольства. Потом стали различимы корабельные мачты и бастионы кронштадтской крепости. Пароход шел мимо воен-

ной гавани. На рейде стояли фрегаты, бриги, шлюпы. На грот-мачте 74-пушечного корабля «Азов» был поднят адмиральский флаг — командующего Балтийским флотом адмирала Д. Н. Сенявина. В купеческой гавани также теснились корабли. Наконец пироскаф причалил к острову.

Отобедав в Английском трактире, путешественники к пяти часам возвратились на пароход.

Погода испортилась — разразилась гроза. Пассажиры бросились с верхней палубы в каюты. Старик Оленин заспорил из-за места с молодым англичанином. Неожиданно Грибоедов признал в последнем секретаря английского посольства в Персии капитана Кемпбелла. Услышав о назначении Александра Сергеевича полномочным министром, англичанин сказал: «Берегитесь, вам не простят Туркманчайского мира».

Это не было пустой угрозой. Капитан Кемпбелл, как и его начальник Дж. Макдональд, относились к русской миссии лояльно — в отличие от группировки Уиллоков, оказывавших на шаха большое влияние. Но дружеское сочувствие английского дипломата мало утешало.

Отступать, однако, Грибоедов не собирался. Чувствуя смертельную опасность, он устремлялся ей навстречу. Таковы были его права.

Приближался отъезд. Собственно, в столице оставалось лишь одно дело, которое непременно нужно было исполнить.

Накануне Грибоедов наконец добился аудиенции у Бенкендорфа и, ссылаясь на родственное участие графа Паскевича-Эриванского в судьбе несчастного Александра Одоевского, получил разрешение переслать восточку ссыльному поэту-декабристу. Пусть в этом письме приходилось подбирать выражения с осторожностью, не забывая о недремлющем око полиции, — Александр поймет главное: он не забыт, он не должен отчаиваться.

«Брат Александр! — писал Грибоедов. — Подкрепи тебя Бог. Я сюда прибыл на короткое время, прожил гораздо долее, чем полагал, но все-таки менее трех месяцев. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат! Зачем ты так несчастлив!.. Я оставил тебя прежде твоей экзальтации в 1825 году. Она была мгновенна, и ты, верно, теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельне и в Коломне в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и спасти...»

Сбивчивое и эмоциональное письмо это тем не менее было трезво обдуманно. Оно соотносилось с прежними сокровенными беседами с Одоевским и рассчитано на точное понимание. Одоевский не спасал Грибоедова во время наводнения 1824 года, в том не было необходимости: дом Погодина был достаточно высок. Но Грибоедов имел в виду другое: всеми силами я, твой друг, сейчас хлопочу о твоём спасении, что сделал бы и ты, если б грозила мне смертельная опасность.

После ухода дипломата генерал Бенкендорф потребовал уже читанное ранее агентурное донесение о настроениях в столице. Там, в частности, значилось: «Возвышение Грибоедова на степень посланника произвело такой шум в городе, какого не было ни при одном назначении. Все молодое, новое поколение в восторге. Грибоедовым куплены тысячи голосов в пользу правительства(...) Должен сказать, что Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом(...) Он имеет толпы обожателей везде, где только жил, и Грибоедовым связаны многие люди между собою...»

Если бы Александру Сергеевичу попался на глаза этот любопытный документ, он без труда определил бы его автора, пожелавшего остаться неизвестным. Как ни любил Фаддей Булгарин творения, выходявшие из-под собственного пера, некоторыми из них он никогда не хвастал: теми, которые вот уже более двух лет проходили по жандармскому ведомству.

Генерал вновь перечитал донесение. Потом осведомился, когда господин Грибоедов отправится в путь. Узнав, что скоро, вздохнул с облегчением. «Опасен, крайне опасен, — подумал он. — Государь слишком добр. Однако Персия — это еще дальше Кавказа, да и умники обычно плохо кончают...»

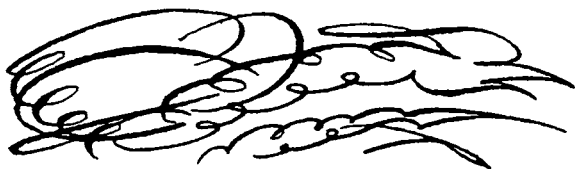
...Письмо Грибоедова осталось в делах III Отделения.

6 июня с утра зарядил по-петербургски нудный и неотвязчивый дождь. Казалось, весна кончилась и тотчас же наступила осень.

В этот день Грибоедов покидал Петербург. Садясь в коляску, он отметил про себя, что возбуждения, обычно предшествующего долгой дороге, на сей раз он так и не почувствовал.

За Обуховским мостом коляска свернула на Царскосельское шоссе. Впереди были тысячи верст пути...





*«Затемнена некоторыми
облаками...»*

Приступая в 1821 году к первому «капитальному» прозаическому произведению — автобиографическим запискам, Пушкин прежде всего попытался определить особенности языка прозы, не находя в современной литературе достойных для себя образцов: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Этому завету писатель всегда оставался верен. «Пушкинская проза гола как-то», — замечал Л. Н. Толстой, имея в виду ее непритязательность, ее чуть ли не протокольную сухость. Однако такое впечатление обманчиво. Повествование у Пушкина только на первый взгляд просто, в нем постоянно пульсирует некое интеллектуальное напряжение. Оно свежо, потому что парадоксально, или, по-пушкин-

ски, остроумно — в соответствии с его собственным определением: «Остроумием называем мы не шуточки, столь любезные нашим веселым критикам, но способность сближать понятия и выводить из них новые и правильные заключения».

Такое определяющее качество пушкинской прозы становится особенно очевидным, если мы обнаруживаем ее полемическую направленность — ее, от противного, высветление понятий, то ли неумело, то ли нарочно затемненных, перевранных.

Чрезвычайно характерен в этом отношении портрет Грибоедова, воссозданный в «Путешествии в Арзрум»: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случилось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой

Декарт, не напечатавший ни одной строчки в „Московском телеграфе”. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия — „Горе от ума” — произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил(...). Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

Парадоксальность первого абзаца — в отношении кажущегося и сущего; здесь контекст — бытовой, равно для Грибоедова, Наполеона и Декарта. Далее — качественный перелом, арена — историческая, стремительное повествование о нарастающих успехах героя, обрываемое просветленно трагической кодой. И наконец, последний абзац — отчетливо ориентирующий пушкинский текст на иное жизнеописание Грибоедова.

Дело в том, что «биография» автора «Горя от ума» — и пушкинские читатели знали это! — уже появилась в печати: в первом номере журнала «Сын отечества» за 1830 год «Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове» поспешил опубликовать Ф. В. Булгарин. О реакции современников на эту бестактную выходку мы можем судить хотя бы по письму М. Н. Загоскина к Н. И. Гнедичу от 14 января 1830 года: «Ты, я думаю, читал биографию Грибоедова, написанную автором „Выжигина“, — по мне — умора! Он, потеряв Грибоедова, осиротел навеки! Фаддей Булгарин осиротел навеки! Ах, он собачий сын! Фаддей Булгарин был другом Грибоедова, — жил с ним новой жизнью!! — как не вспомнить русскую пословицу, в которой говорится о банном листе».

Между тем Булгарин и позже не уставал подчеркивать свои дружеские отношения с погибшим писателем. Об этом он постоянно «проговаривался» на страницах своей газеты «Северная пчела». А в начале 1835 года из печати вышла первая часть булгаринского романа

«Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни», где тень Грибоедова опять была потревожена в образе одного из персонажей: «Александр Сергеевич Световидов принадлежал к хорошей и старинной дворянской фамилии (...) В юности Световидова пример родителей и недостаток нравственного образования едва не увлекли на стезю порока и едва не свергнули в бездну разврата, если бы сила ума его и характера не удержала его (...) В короткое время Световидов прошел все поприще соблазна и испытал все буйные наслаждения. Но вскоре он опомнился, почувствовал пустоту в сердце и вышел в отставку. Одно неприятное приключение в столице, которое он навлек на себя остатками своих гусарских привычек, заставило его удалиться от света. Семь лет он прожил в уединении, с книгами и с собственным сердцем, вычерпал, так сказать, всю книжную мудрость и, процедив ее сквозь здравый рассудок, сделался истинным философом, сохранив при этом всю любезность светского человека.

Природа наделила его удивительною памятью и необыкновенным даром убеждения (...) Он имел от природы этот, так сказать, сверхъестественный дар, эту симпатическую силу очаровывать сердца одним взглядом и заставлял верить себе на слово. Привилегия истинного гения! Если б Световидов был брошен судьбою на поприще политической деятельности, он бы достигнул недостигаемого величия. Он был рожден быть

или Бонапартом или Магометом (...) Когда я познакомился с ним, ему было около тридцати лет от рождения. Он уже с полгода жил в Петербурге, собираясь путешествовать по Европе (...) Световидов часто рассуждал со мною о страстях и пороках, бытующих в свете, подобно вихрям в море, и угрожающих добрым кораблекрушением или задерживающих их в пути (...)»

На «Записки Чухина» Пушкин намеревался откликнуться в «Современнике» краткой рецензией: «Г-н Булгарин в предисловии к одному из своих романов уведомляет публику, что есть люди, не признающие в нем никакого таланта. Это, по-видимому, очень его удивляет. Он даже выразил свое удивление и знаком препинания (!).

С нашей стороны, мы знаем людей, которые признают талант в г. Булгарине, но и тут не удивляемся.

Новый роман г-на Булгарина нимало не уступает его прежним».

Язвительная эта реплика в пушкинском журнале не появилась — может быть, потому, что в первом номере его было напечатано «Путешествие в Арзрум», где в кратком жизнеописании Грибоедова Пушкин уже откликнулся на этот роман — на основное в нем, что требовало опровержения.

Нельзя не заметить, что Пушкин сознательно повторяет в своем очерке ряд деталей, намеченных и в болгаринском рассказе о Световидове. Там герой сравнивается с Бонапартом — Пушкин вспоминает Наполеона, но

для того чтобы обронить апофегму (сентенцию), по виду вполне простодушную, а на деле прямо целящую в прилипчивых к славе булгаринных: «Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос».

Однако главное в другом. В традициях дидактического романа с его «нравственной тенденцией» булгаринский Световидов проходит обычный путь от «заблуждений юности» и «разврата» (разврат, по толкованию «Словаря Российской академии», — это «лжеучение, противное закону, вере или истине») к раскаяньям рассудка и становится благонамеренным, «порядочным человеком». Для Пушкина же Грибоедов — истинный сын своего века, гениальные задатки проявивший в поэтической и государственной деятельности.

Важная деталь. Пушкин, вроде бы, вполне очевидно нарушает хронологию событий («...уехал в Грузию, где пробыл семь лет...»; ср. у Булгарина: «Семь лет он прожил в уединении» — здесь более или менее точно, так как подразумеваются годы 1818—1825-й). Если даже ориентироваться на обозначенные самим Пушкиным вехи: 1817—1824 годы (на самом деле Грибоедов уехал на Восток в 1818 году, а в Москву возвратился в 1823-м), то и тогда хронология не сходится. Она станет точной, если мы поймем, что весь второй абзац обобщенно характеризует у Пушкина второй, «деятельный» период биографии Гри-

боедова — вплоть до его гибели в самом начале 1829 года: именно тогда он провел на Востоке (в Грузии и Персии) действительно около восьми лет, учитывая длительный отпуск 1823—1825 годов (а то, что Грибоедов в 1825 году был еще в Петербурге, Пушкин хорошо знал по переписке с петербургскими друзьями), полугодное пребывание в Петербурге в 1826 году в связи с арестом по подозрению в принадлежности к тайному обществу и трехмесячное пребывание в столице в 1828 году (в эти дни Пушкин встречался с ним постоянно, именно тогда в полной мере оценив его личность).

Данные выкладки совершенно необходимы, чтобы правильно осмыслить фразу о «некоторых облаках», открывающую весь второй абзац. Лишь на первый взгляд за этими словами скрывается тот же намек, который мы находим в болгаринской характеристике Световидова, — на «одно неприятное приключение в столице», т. е. на участие Грибоедова в нашу-мевшей дуэли Завадовского с Шереметевым в конце 1817 года. Странно, что Пушкин с его лаконичной манерой письма второй раз возвращается к одному событию: ведь и подозрение в трусости Грибоедова, о чем Пушкин упоминал выше, было связано с досужими сплетнями по поводу той же дуэльной истории. Но если и упоминание об «облаках» о том же, тогда всю эту пушкинскую фразу, очевидно, можно было бы истолковать следующим образом: жизнь Грибоедова была потому «затемнена некоторыми облаками», что «пылкие страсти»

друзей (Пушкин знал, что Грибоедов здесь был лицом посторонним) привели к смертельному столкновению, в котором Грибоедов был принужден участвовать по законам дворянской чести (повинуясь «могучим обстоятельствам»). Но поставив в данном отношении все точки над *i*, мы не можем не поразиться, насколько напыщенной и вялой оказывается пушкинская метафора (и это при исключительной редкости метафоры в пушкинской прозе!).

Как известно, Пушкин был непримиримым противником цветастых перифраз. «Эти люди, — замечал он про современных прозаиков, — никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.». Если метафорические обороты в пушкинской прозе и встречаются, то они всегда — своеобразный смысловой курсив: предупреждение читателю о необходимости поразмышлять, понять точное значение тщательно отобранных писателем слов. Необходимо и в данном случае проверить смысл пушкинских определений, обратившись к привычному для него словарю. Читаем: «пылкость тогдашних чувствований» (о конце 1810-х годов), «чувствительный и пылкий Радищев», «пылкой его души» (о молодом Вольтере). Как видим, для Пушкина «пылкость» — примета души незаурядной, отважной (ср. в монологе Чацкого: «Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та?»). А «обстоятельства» — к тому же «могучие»? О «силе обстоятельств» Пушкин вспоминал обычно в связи с историче-

скими судьбами тех или иных явлений: «Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы».

В 1826 году Пушкин по прямому поручению Николая I пишет записку «О народном воспитании», где пытается дать свое понимание причин, породивших революционное выступление декабристов: «Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий», — и далее цитирует царский манифест о происшествиях 14 декабря 1825 года: «Не просвещению, но праздности ума (...) недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей». В ранней стадии работы над романом о дворянине-пугачевце Пушкин предполагал открыть произведение обращением героя к внуку. Герой в то время носил еще фамилию Шванвича, дворянина-пугачевца, внук же его, как можно понять из контекста предисловия, находился в «местах отдаленных» отнюдь не за дворянские шалости. «Ты знаешь, что несмотря на твои проказы, — писал старый Шванвич в 1833 году, — я все полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, какие терпели от тебя родители. Он всегда вел себя порядочно и добронравно, и всего бы лучше было, если б ты на него похо-

дил. Но ты уродился не в него, а в дедушку, и, по-моему, это еще не беда. Ты увидишь, что завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава Богу, дожил до старости, заслужив и почтение близких и добрых знакомых...»

Думается, именно в этих (вынужденно благонамеренных) пассажах мы находим наиболее точные ориентиры для толкования ключевой фразы в пушкинской характеристике Грибоедова — как иначе мог бы сказать он о дружеских связях Грибоедова с декабристами, о его аресте в 1826 году? А сказать об этом в «Путешествии в Арзрум» было просто необходимо! Вспомним, что напечатано оно в пушкинском «Современнике», открывавшемся его же стихотворением «Пир Петра Первого», которое было отважным призывом о «милости к падшим». Тема эта варьировалась в других материалах журнала и прежде всего — в «Путешествии в Арзрум», где впервые в русской литературе было рассказано о судьбе многих осужденных декабристов: о В. А. Мусине-Пушкине, М. И. Пущине, Н. Н. Семичеве, В. Д. Сухорукове, П. П. Коновницыне и др. (в журнальном тексте их фамилии были обозначены начальными буквами). Только в таком контексте становится понятным появление в «путевых записках» развернутой характеристики Грибоедова, славного представителя декабристского поколения, личности, по мысли Пушкина, в полной мере состояв-

шейся — к славе отечества. «Могучие обстоятельства» и «пылкие страсти» лишь на время затемнили его судьбу «некоторыми облаками», но сколь многое сумел он совершить! Неужели «Наполеонами, не командующими ни одною егерскою ротою», останутся его духовные братья, томящиеся в «мрачных пропастях земли»?

В том же ключе прочитывается и несколько неожиданное определение качества грибоедовского ума: «его озлобленный ум» (ср., по-пушкински контрастные, смежные упоминания о «меланхолическом характере» и «добродушии»). В словаре Пушкина этот эпитет также обычно характеризовал человека, активно недовольного современным состоянием общества. «Я был озлоблен, он угрюм», — замечал поэт в первой онегинской главе, противопоставляя охлажденного Онегина и пылкого автора, а в седьмой главе сочувственно вспоминал два-три романа, «в которых отразился век и современный человек (...) с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом». Тот же эпитет в пушкинском упоминании: «...озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков». В связи с этим замечанием уместно вспомнить сохраненное А. Н. Вульфом пушкинское обещание: «Я непременно напишу историю Петра, а Александру — пером Курбского».

«Определяйте значение слов», — вслед за Декартом призывал Пушкин, и неоднократно

сам занимался этим, показывая, к каким недоразумениям приводит неточное понимание обыкновенных слов.

Пушкинское предупреждение всегда важно помнить при осмыслении языка его прозы, ясного и точного «языка мыслей».





В соревновании с Паньком и Гомозейкой

28 сентября 1833 года В. Ф. Одоевский обратился к Пушкину с неожиданным предложением: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — гостиную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — погреб, тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы к „Тройчатке“ сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: „Тройчатка, или Альманах в три этажа, сочинение и проч.“ — что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не успеет и „Тройчатка“ не

выйдет к новому году, что кажется необходимым. — А что сам Александр Сергеевич?»

В приписке к письму также сообщалось, что «мысль о трехэтажном альманахе» В. А. Жуковскому «очень нравится».

Под «гостиной» здесь имелась в виду повесть Одоевского (Гомозейки) «Княжна Мими», напечатанная позже в «Библиотеке для чтения» (1834. Т. 8, кн. 1). Как заметил П. Н. Сакулин, «многоэтажное построение сцены входило в первоначальный замысел Одоевского», в черновиках которого сохранились два варианта фантастического пролога к повести, предваренные эпиграфом из Кириши Данилова: «Заглянем в подполье — В подполье черти Востроголовы». Согласно первому варианту пролога, «в подполье у нечистых духов — подлинная канцелярия. В роли министра (ревизора) — Астарот. Сегелиель обычным стилем канцелярских бумаг делает доклад его превосходительству о том, что ему, Сегелиелю, никак не удастся заставить баронессу Марию (ранее и в другом месте — Елизу) изменить своему мужу, вследствие чего он просит от нее отставки (...) Астарот с негодованием набрасывается на Сегелиеля. „Если г-жа Елиза в самоскорейшем времени не будет представлена в ад, вы подвергнетесь жесточайшему взысканию”».

Во втором варианте пролога действие также происходит в подполье, где „жило очень почтенное семейство чертей” (...) Дочка хозяйки стала просить отца показать ей наконец гостиную. Так как княжна Мими должна ны-

нешнюю ночью скоропостижно умереть от любви, то для чертей опоражнивалось нужное человеческое тело, и все семейство поднялось через пол в спальню княжны, и, как только она испустила последний вздох, засело в ее тело. „На другой день княжна жаловалась на мегрень и все заметили ее дурное расположение духа”. Этим кончается второй пролог».

Что предназначалось Н. В. Гоголем (Рудым Панько) на «чердак»?

В рабочей тетради писателя, хранящейся ныне в Российской государственной библиотеке, на с. 45 сохранилось начало (всего несколько строк) произведения, озаглавленного «Страшная рука, повесть из книги под названием „Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове”». Можно предположить, что вся книга «Лунный свет...» была задумана как собрание повестей о петербургских художниках, скульпторах, музыкантах, — недаром набросок появляется в черновиках статьи «Скульптура, живопись и музыка», которая позже откроет сборник Гоголя «Арабески». Две таких повести («Портрет» и «Невский проспект») были начаты почти одновременно, и их герои также живут на чердаке. Вероятно, для «Тройчатки» предназначался «Портрет», который начат в той же рабочей тетради несколько ниже, первоначально также соседствуя со статьей «Скульптура, живопись и музыка». Под этой статьей в «Арабесках» стоит дата «1831», которую, исходя из анализа последовательности заполнения рабочей тетради Гоголя, можно не подвергать сомнению.

Следовательно, повесть «Портрет» была написана не позже 1832 года и могла быть известна тогда уже Пушкину, судя по тесным творческим контактам писателей в ту пору.

У Пушкина же к осени 1833 года не было ничего готового для альманаха. Однако среди набросков 1832 года существовал тот, который впоследствии разовьется в повесть «Пиковая дама»: две написанные вчерне главки так называемой повести об игроке, герой которой носит фамилию Германн.

Не исключена возможность, что о замысле повести об игроке был осведомлен кто-то из троих: Одоевский, Гоголь или Жуковский, — трудно иначе допустить, что первый из них мог бы предложить Пушкину специально подстраиваться к альманаху „Тройчатка“, две „верхние части“ которого были уже готовы (или почти готовы).

Во всяком случае, Пушкин не удивился этому предложению. Тем не менее в письме от 30 октября 1833 года он отвечал: «Виноват, Ваше Сиятельство! кругом виноват. Приехал в деревню, думал распишусь. Не тут-то было. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень — так одолели меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Белкина; не на шутку, видно, он покойник; не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панька. Недостойн он, видно, их компании... А куда бы не худо до погреба-то добраться».

Заметим, что ответ этот Пушкин пишет не сразу после получения письма Одоевского, а спустя недели две. Ссылка на «барскую

лень» — конечно, маленькая хитрость поэта. В тот же день он сообщал жене: «Недавно расписался, и уже написал пропасть». Во вторую свою болдинскую осень Пушкин действительно работал очень плодотворно: здесь была дописана «История Пугачева», набросана, по всей вероятности, большая часть «Песен западных славян», 14 октября окончена «Сказка о рыбаке и рыбке», 27 октября — поэма «Анджело», в конце октября — поэма «Медный всадник», 4 ноября — «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Возможно, именно тогда писалась и «Пиковая дама», но в Болдино она завершена не была: об этом свидетельствует черновой набросок из последней главы повести, сохранившийся на позднейшем письме поэта к А. Х. Бенкендорфу от 26 февраля 1834 года.

Идея альманаха — и после отказа Пушкина — не пропала. В конце 1833 года в письме к М. А. Максимовичу Одоевский писал: «Я печатаю — ужас что! — с Гоголем „Двойчатку“, составленную из наших двух новых повестей». Показательно, что в той же рабочей тетради Гоголя, о которой упоминалось выше, на с. 3 сохранился довольно точный перечень «статей» для «Арабесок», составленный в августе—октябре 1834 года, где упоминаются и «Невский проспект», и «Записки сумасшедшего музыканта» (окончательно этот замысел оформился в «Записки сумасшедшего»), но отсутствует «Портрет». Это свидетельствует, что для альманаха предназначался именно он. Когда же идея альманаха не осуществилась,

«Портрет» был все же включен в сборник «Арабески» (вышел в свет в начале 1835 года).

Итак, альманах «Тройчатка» не получился. Тем не менее этот издательский замысел должен быть учтен в рассмотрении творческой истории «Пиковой дамы», оригинальнейшей из пушкинских повестей.

Повесть «Пиковая дама» стоит несколько особняком в пушкинской прозе, точной и ясной по стилю. Не приводя развернутых аргументов на этот счет, обратим внимание лишь на размытость в ней петербургских реалий, что особенно заметно при сопоставлении «Пиковой дамы» с «Повестями Белкина». Так, городской эпизод в «Станционном смотрителе» занимает всего две страницы, но во всей предшествующей русской прозе нельзя, пожалуй, собрать такого количества петербургских примет, выраженных с пушкинским лаконизмом и предельной мерой точности: «остановился в Измайловском полку», «живет в Демутовом трактире», «шел по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих». Сравним в «Пиковой даме»: «очутился в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры», «вошел в кондитерскую лавку», «отправился в *** монастырь», «обедал в уединенном трактире». Несомненно, что реальные черты города здесь скрадываются намеренно, что позволяет исподволь нагнетать фантастическую атмосферу в повести. Обуянный маниакальной идеей, Герман все менее и менее способен различать реальные очертания окружающих его мест и лиц. Вот он наблюдает за съездом баль-

ных гостей: «Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара».

Конечно, такое описание мотивировано тем, что в отблесках неясного света и в самом деле можно увидеть только некоторые детали. Но есть здесь и своеобразная стилистическая экспрессия: предвестье помутнения рассудка у Германна. Следующим этапом этого состояния станет отрешенность героя от всего, кроме обретенной (будто бы!) тайны.

«Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: „Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная“. У него спрашивали: „который час“, он отвечал: „без пяти минут семерка“. Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза...»

Это предопределяет последний крах игрока: «Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе».

И только тогда в «Заключении» наконец появляется, от автора, единственная в повести точно названная петербургская реалия: «Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере...»

Такая стилистика будто бы несет в себе черты иной, не пушкинской, художественной

манеры. Само пристрастие к метонимии, приобретающей фантастические, гротесковые черты, — известная примета гоголевского стиля, особенно ярко проявившаяся в его петербургских повестях: «Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая пару хороших глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление...»

Казалось бы, речь в данном случае должна идти об обычном для молодого Гоголя остром и моментальном усвоении пушкинских художественных открытий. Но вспомним, что «Портрет» и «Невский проспект» были написаны до «Пиковой дамы».

Впрочем, нечто похожее мы встречаем постоянно в «Пестрых сказках» В. Ф. Одоевского, вышедших в начале 1833 года, — особенно пристрастных к фантастическому одушевлению вещей, как это проявляется, например, в следующей карточной фантазмагории: «Накопец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук. Дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали — и составила целая масть Иванов Богдановичей,

целая масть Начальников отделения, целая масть Столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя Открытых таинств картежной игры.

Между тем Короли уселись на креслах, Тузы на диванах, Вальты снимали со свечей, Десятки — словно толстые откупщики — гордо расхаживали по комнате, Двойки и Тройки почтительно прижимались к стенкам...»

Вполне возможно, что гоголевско-одоевские черты в стилистике «Пиковой дамы» обладали как раз потому, что начата она была в октябре 1833 года после получения письма от Одоевского и предназначалась в качестве «подвала» в альманах «Тройчатка».

В самом деле, ничто в пушкинской повести не противоречит такому предположению.

Повестью Пушкина было предложено открыть альманах: она должна была описывать обитателя нижнего этажа.

Здесь следует выявить реальное значение слова «погреб» («подвал») в пушкинскую эпоху. «Словарь Академии Российской» толкует его так: «**Погреб** — нижнее жильё в домах, которое несколько опускается в землю. *Дом на погребах, с погребами. Жилые погреба*».

В первоначальном наброске повести об игре местожительство героя в этом отношении не было прояснено. Германн же «Пиковой дамы» живет именно в погребе, где его посещает видение, открывшее тайну трех карт: «В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел».

Понятно, что заглянуть с улицы в окошко можно было в жилье нижнего этажа, т. е. в подвал (погреб), по определению того времени.

Независимо от того, знаком был или нет Пушкин с повестями Одоевского и Гоголя, предназначенными для «гостиной» и «чердака», он, несомненно, ясно представлял себе идейно-художественную направленность замышляемого альманаха. Ему было известно, что социальная тема «этажей» была особенно популярна в новейшей французской литературе, — в частности, она раскрывалась в стихотворении Беранже «Пять этажей» и в «Исповеди» Жанена. В последней из них писалось: «Существует нечто более занимательное, чем египетские пирамиды, Кремль или ледники Швеции, чем все диковинки, которые стремятся посмотреть с такими затратами и мучениями: это громадный парижский дом в многолюдном квартале, заселенный от фундамента до крыши. Во втором этаже — чрезмерная роскошь, под самой крышей — чрезмерная бедность, в середине — изобретательная деятельность...»

Одоевский и Гоголь упрощают конструкцию своего строения, в соответствии с русской действительностью. Вместе с тем само название альманаха, придуманное Гоголем, подчеркивало сатирическую направленность предназначенных туда произведений: в словарице, приложенном к первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки», значилось: «Тройчатка — тройная плеть». И в самом деле,

сатирическому разоблачению подвергается не только обитательница гостиной в повести Одоевского «Княжна Мими», но и героиня «Портрета» (хотя для жителя чердака, казалось бы, могли быть годными иные, сентиментально-романтические краски). Пушкин, как видим, также избирает в героиню «подвального» произведения человека, не вызывающего «благотворительного» сочувствия. Подобно гоголевскому Черткову, перебирающемуся — после внезапного обогащения — с чердака в бельэтаж, о той же социальной иерархии мечтает пушкинский Германн, обитатель подвала.

Так возникает идейная переключка трех повестей.

«Княжна Мими, — подчеркивает П. Н. Сакулин, — с сознанием своей правоты совершившая, в сущности, ряд тяжких преступлений, служит печальным примером того, во что превращается человек, убивший в себе поэтическую стихию. Здесь корень зла».

Почти теми же словами можно было бы определить основную мысль и гоголевского «Портрета», и пушкинской «Пиковой дамы».

Героя «Пиковой дамы» мы также невольно вспоминаем, читая о молодом бароне в «Княжне Мими», который «был воспитан по системе рационализма и утилитаризма, по системе, в которой поместилась эпиграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкой, смех из Парни, нравственно-арифметическая фраза Бентама, насмешливое воспоминание о при-

мере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон о карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия».

О модном рационализме своего времени писал Одоевский и в «Пестрых сказках, собранных Иринею Модестовичем Гомозейкою»: «А кажется, мы смышленнее наших предков: мы обрезали крылья у воображения; мы составили для всего системы, таблицы; мы назначили предел, за который не должен выходить ум человеческий, мы определили, чем можно и должно заниматься, так что теперь ему уже не нужно терять времени по-пустому и бросаться в страну заблуждений».

Это рассуждение определяет своеобразие фантастики «Пестрых сказок» (фактически — антисказок), в которых люди действуют как бездушные механизмы, а вещи восстают и претендуют на роль хозяев жизни, коль скоро им поклоняется как своему фетишу современный человек.

Пушкин был невысокого мнения о «Пестрых сказках». «При встрече на Невском, — вспоминал В. А. Соллогуб, — Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: „читал... ничего... хорошо...“ и т. п. Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки очень трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся (...) и сказал: „Да если оно так

трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно»».

Как нам представляется, получив в Болдино письмо от Одоевского с предложением принять участие в альманахе, Пушкин вступает в соревнование с ним и отчасти с Гоголем, используя их стилистические и сюжетные приемы, создавая свою «фантастическую сказку», естественно, однако, вырастающую из реальности. Однако к 30 октября 1833 года он остыл к этому замыслу, решив не делать своего вклада в альманах, — увлекшись, по всей вероятности, другой своей «петербургской повестью», поэмой «Медный всадник».

Почему же несколько позже «Пиковая дама» была все же дописана и напечатана в журнале, а не отдана в альманах?

Об этом можно только догадываться. Вполне возможно, что причина здесь была самого прозаического свойства.

Возвратившись в Петербург из Болдино, Пушкин сообщал 24 ноября 1833 года П. В. Нащокину: «Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать». Надежда была на публикацию только что оконченных в деревне произведений: поэмы «Медный всадник» и «Истории Пугачева». Но первая из них не была одобрена высочайше, а для публикации второй необходимы были прежде всего большие расходы. Последняя его книжка (полное издание «Евгения Онегина») вышла в свет восемь месяцев назад, в конце марта 1833 года, а сле-

дующая («Повести, изданные Александром Пушкиным» — сюда войдет и «Пиковая дама») появится семь месяцев спустя. Столь долгий перерыв между двумя пушкинскими изданиями уникален в последнее десятилетие его жизни, и это подчеркивает, в сколь сложных материальных обстоятельствах очутилась семья поэта. Он решается на крайнюю меру: 26 февраля 1834 года обращается к А. Х. Бенкендорфу с просьбой выдачи из казны 20 000 рублей — для напечатания «Истории Пугачева». На самом деле для публикации этого труда потребовалась куда меньшая сумма — остальное пошло на погашение первоочередных долгов и на прожитье.

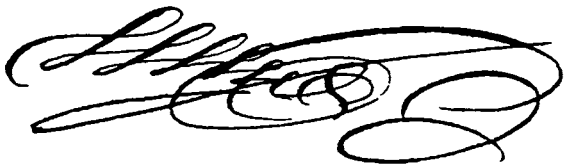
Пока вопрос о казенном долге решался в высших инстанциях, нужны были срочные деньги.

Так появляются на черновике письма к Бенкендорфу следы завершающей работы над «Пиковой дамой», о которых уже упоминалось выше. Пушкин спешил, чтобы повесть попала в очередной выпуск «Библиотеки для чтения», платившей поэту за его произведения довольно щедро, а главное — без промедления. 1 марта журнальный том с «Пиковой дамой» вышел в свет...

Такова, на наш взгляд, внешняя история создания «Пиковой дамы» и одновременно — причина невключения повести в альманах «Тройчатка», ориентируясь на состав которого Пушкин несколько раньше начал писать свое произведение. Было бы интересно осуществить в наше время это не состоявшееся в ту пору

издание (в чем-то предвосхищавшее альманах Белинского «Физиология Петербурга»). Повесть Пушкина в соседстве с «Княжной Мими» Одоевского и «Портретом» Гоголя предстала бы в контексте литературы своего времени, по своему оттенив художественный гений Пушкина, умевшего учиться у своих современников и всегда выходявшего победителем в таком учении.





Последнее произведение

Совершенно особый характер творческим рукописям Пушкина придадут постоянно вторгающиеся в них рисунки поэта. Менее известно другое: пушкинские черновики последних лет испещрены цифрами. Как правило, это денежные расчеты. В конце 1836 года он оценивал только срочные свои долги в 45 тысяч, а хозяйственные расходы на год — в 17 тысяч.

Жалованье за работу над «Историей Петра I» было забрано еще в конце 1835 г. — на пять лет вперед. Подаренное отцом к свадьбе Кистеневу сразу же было заложено и доходов не приносило — в ноябре 1836 г. Пушкин безрезультатно обращался к министру финансов забрать имение в казну. «Я богат через мою торговлю стишистую», — как-то пошутил поэт. Больше ему не на что было надеяться.

Эти предварительные замечания необходимы для осмысления одного из подсчетов Пушкина:

2.500
25
<hr style="width: 100%;"/>
12.500
5000
<hr style="width: 100%;"/>
62.500
12.500
<hr style="width: 100%;"/>
75.000

Подсчет велся на полях пушкинской рецензии на комедию М. Н. Загоскина «Недовольные». Ниже шел черновик письма к В. А. Соллогубу, отправленного в конце февраля 1836 года. Очевидно, тогда же, перевернув лист, Пушкин занялся вычислениями.

Закончив их, он зачеркнул одну за другой все промежуточные цифры, оставив лишь общий результат, а потом, как обычно, быстрым движением пера очертил свой профиль. Наметил прядь волос. Густо заштриховал бакенбарды. Поправил линию губ. Выражение лица стало вполне уверенным, взгляд — открытым и целеустремленным.

Этому автопортрету было суждено стать последним.

Но что означали цифры?

Здесь были подсчитаны не долги и издержки (они требовали более сложных выкладок), а, по всей вероятности, ожидаемые денежные поступления. Доход же могли приносить только книги. По-видимому, сначала поэт наметил тираж, а ниже — цену одного экземпляра.

В начале 1836 года не готовилось к отдельному изданию ни одно из сочинений Пушкина.

Но к этому времени было получено разрешение на выпуск журнала «Современник». В марте 1836 года первый том был подписан к печати — следовательно, в конце февраля он был уже сформирован (здесь, в частности, предполагалось поместить рецензию на заго-скинскую комедию). Первый том «Современника» вышел тиражом 2500 экземпляров, на последней странице обложки объявлялось: «Подписка принимается во всех книжных лавках. За годовое издание „Современника“, состоящее из 4-х томов, платится 25 р. ассигнациями, а с пересылкою 30 р.».

Теперь становится понятным ход рассуждений Пушкина, отразившийся в его расчетах. Сначала он и вычислил стоимость всего тиража исходя из цены четырех томов в 25 рублей. Не удовлетворившись данной суммой, он прибавил к ней еще 12 500 (накинув, было, по 5 рублей за годовой комплект) — это примерно соответствовало сумме редакторских издержек (стоимость бумаги и набора, гонорар авторам). В конце концов, как мы видели, цена журнала была определена первоначальной суммой (почтовые расходы на пересылку для иногородних подписчиков издателя, конечно, не касались). Но еще в конце января 1836 года Пушкин рассчитывал на большее. Его сестра 31 января сообщала мужу: «...он издает на днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60.000! Хорошо и за-видно».

Для Пушкина это был вопрос принципиального свойства. Только так он мог совершен-

но освободиться от денежной зависимости — прежде всего от царя. П. А. Вяземский даже полагал впоследствии: «Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале».

Однако такая оценка издательского начинания Пушкина — конечно же, крайность. Журнал для него представлялся не только доходным предприятием (чего поэт давно не стыдился, осознавая себя профессиональным литератором), но и трибуной, с которой он получал возможность обращаться к своему читателю, используя различные формы журнальной публицистики.

Сохранился любопытный, выполненный в конце мая 1836 года, пушкинский подсчет материалов для журнала «Современник» (т. 3):

Тютч. 1	$1 \frac{1}{2}$	
Над. 1	$\frac{1}{2}$	
		<hr/>
		Тютчева
		Надежда
		Мои
		<hr/>

Левая колонка этой записи убедительно истолкована: стихотворения Тютчева и статья кн. Козловского «О надежде» занимали в журнальном томе соответственно чуть более одного и полутора печатных листов. Правую же колонку следует понять в том смысле, что кроме этих двух с половиной листов чужих произве-

дений Пушкин первоначально предполагал поместить в томе еще не более полутора листов материалов, принадлежащих другим авторам, а основной состав тома оставлял за своими произведениями («Мои» — около семнадцати печатных листов). Основная причина такого пристрастия объяснялась, по-видимому, просто: второй том журнала, напечатанный двумя с половиной тысячами экземпляров, расходился так же плохо, как и первый; тираж третьего тома был сокращен вдвое и не предвещал доходов — другим авторам платить было нечем. Но это, в свою очередь, заставляло Пушкина в своих произведениях быть по-журнальному разнообразным, выступать в разных амплауа: поэта, прозаика, мемуариста, критика, историка, обозревателя. Пушкин был вынужден в большинстве случаев не походить на самого себя, воссоздавая ожидаемое читателем журнальное многоголосье.

Журнал стал главным делом Пушкина в последний год его жизни. Тираж его катастрофически падал. Всего девятьсот экземпляров последнего тома «Современника» оказались раскупленными. Он не принес ожидаемых доходов — скорее, еще больше разорил своего издателя. Но вплоть до последнего, дуэльного, дня поэт постоянно был занят им, рассчитывая наперекор судьбе найти и воспитать своего читателя.

Об этом нужно постоянно помнить, осмысливая жизнь и творчество Пушкина последней поры. Нельзя не заметить, что преддуэльные события — в их трагической ретроспективе —

нередко засвечивают для нас это основное направление пушкинской деятельности, даже подчас окрашивают последние месяцы поэта в безысходно мрачные тона. Более того, в поисках «ключа» к его «загадочным произведениям» этого времени принято, как правило, иметь в виду дуэльную историю, как будто и в самом деле свет сошелся клином лишь на ней.

В таком смысле была предпринята попытка истолковать и самое позднее произведение Пушкина — «Последний из свойственников Иоанны д'Арк». Напечатанное в первом посмертном томе пушкинского «Современника», оно почти в течение века молчаливо оценивалось в качестве проходной заметки-хроники, излагающей содержание некоей публикации в английской газете «Morning Chronicle», пока Н. О. Лернер и Н. К. Козмин не обратили внимания на то, что это не что иное, как пушкинский пастиш — мастерская стилизация не существовавшей в природе газетной хроники. Пушкин, оказывается, мистифицировал читателей. С какой целью? Ответа на этот вопрос никто не пытался дать вплоть до 1970-х годов, пока Д. Д. Благой не оценил пушкинскую статью как мстительный выпад против Геккернов, посягнувших на честь поэта: «...сливая в „двуединое существо“ того и другого Геккерна — вольтерьянствующего аристократа, циника и злоязычника, лишенного не только чувства чести, но и вообще каких-либо моральных устоев, „старичка“-„отца“, и его „так называемого сына“ — наглеца и труса, каким представлялся он Пушкину, „француза“ (так

порой для краткости именовали его современники) Дантеса, и сконструировал Пушкин синтетический образ „Вольтера” в своей статье-мистификации». Этим личным выпадом, считает Д. Д. Благой, дело не ограничивалось: в лице Геккернов удар поэта направлялся «окружавшему его придворно-светскому обществу, лишенному чести, патриотизма, гражданского чувства, готовому позорить и высмеивать все самое святое, что есть в мире и человеке».

Думается все же, при интерпретации произведения (художественного произведения!) следует обходиться без пресловутого «ключа», лежащего где-то в стороне; подход к художественному тексту как к шифрограмме едва ли правомерен в принципе.

В своем пастише Пушкин поочередно дает слово трем разным героям. Каждый из них говорит и действует сообразно с собственными представлениями о чести. Автор же выступает в роли журнального хроникера, вводящего читателя в курс дела. Посмотрим, как это делается.

«В Лондоне, в прошлом 1836 году, умер некто г. Дюлис (Jean-Francois-Philippe-Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской девственницы. Г. Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он по себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца Эдимбургского. Между его бумагами найдены по-

длинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса».

Всего один абзац, но как масштабно намечена здесь панорама событий и лиц, определяющих сюжет пастыша! Три исторические эпохи: время Жанны д'Арк (начало XV века), французская революция и современность — не просто упоминаются, но и взаимодействуют. История одного из дворянских родов Франции прослежена пунктиром в главных промежуточных звеньях: недаром здесь замечается о грамотах Карла VII (XV век), Генриха III (XVI век) и Людовика XIII (XVII век) — за каждым из этих имен (разных имен!) угадываются важные исторические вехи (как это показано, например, в «Родословной моего героя», напечатанной в т. 3 «Современника»). Скуппо — в стиле журнального репортажа — обозначен парадокс судьбы Дюлисов: героическое начало их рода относится к эпохе Столетней войны, а бесславное угасание — к эпохе французской революции: от «ее ужасов» родовитый потомок крестьянина, брата Жанны д'Арк, бежит в Англию, повинную в смерти его «славной прабабки»; здесь наступает его окончательное обмещивание: женитьба на англичанке из буржуа. Ни персональной, ни национальной вины Пушкин не акцентирует: это печально, но таков неумолимый «судьбы

закон». В «Родословной моего героя» поэт посетует:

Мне жаль, что нашей славы звуки
Уже нам чужды; что спроста
Из бар мы лезем в tiers-état,
Что нам не в прок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто... —

а в концовке очерка «Джон Теннер» покажет, к чему ведет голая предприимчивость, лишенная исторических преданий и национальных заветов.

Именно за счет столь широко намеченного исторического фона трагикомическая стычка Дюлиса-отца с Вольтером возбуждает целый спектр нешуточных раздумий о столкновении «века нынешнего» с «веком минувшим».

Прежде чем предоставить слово Дюлису-отцу, автор пастыша сочувственно его характеризует: «По-видимому, Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однако ж около 1767-го году дошло до него, что некто Mr. de Voltaire издал какое-то сочинение об орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г. Дюлис решился, однако же, ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки. Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил книжку in 18, напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника.

(Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале Morning Chronicle)».

Заметим, что это также текст «от автора», но как будто нарушающий общий хроникальный стиль журнальной заметки, так как вся содержащаяся здесь информация (а пастиш внешне больше ни на что не претендует) отчасти выясняется из нижеприведенного письма Дюлиса-отца, а в остальной своей части содержит художественный вымысел. Откуда, скажем, автору знать, что письмо было написано не по долговому размышлению, а в «первом пылу негодования»? Нам предлагается словно бы воочию увидеть, как герой, решившийся на очень разорительную покупку, ожидает соответствующий цене солидный фолиант, получает же маленькую книжечку, недоуменно перелистывает ее, с удивлением обнаруживая фривольные картинки, потом читает — и не может сдержать праведного негодования. Психологически такая реакция «благородного Дюлиса» вполне понятна.

В том, что Дюлис-отец обмишурился, есть, конечно, и комическая черта. Но если представить, что в середине XVIII века он мог реально прочесть об Орлеанской девственнице, то выясняется довольно удручающая картина. Р. Саути, тридцатью годами позже издавая свою поэму «Жанна д'Арк», скажет в предисловии: «Из „Национальных древностей Франции” Миллина я узнал, что в 1791 году М. Лаверди был занят обозрением всего, что написано об Орлеанской деве. Я с волнением отыскал его работу, но она касалась только

беспорядков периода интервенции и, возможно потому, была неполна. Из различных произведений, посвященных памяти Жанны д'Арк, я почерпнул только несколько названий и, если перечень полон, не побоюсь сказать, что они одинаково неудачны. В полном списке произведений С. Эверта сказано, что, по слухам, у него была плохая поэма, озаглавленная „Современная амазонка”. Имеется прозаическая трагедия „Орлеанская дева”, которая приписывалась то Бенсераду, то Боуэру, то Менардеру. Аббат Добиньяк опубликовал трагедию в прозе под тем же названием в 1642 году. Другая — опубликована под именем Жана Бореля в 1581 году, а еще одна — анонимно в Руане в 1606 году. Среди рукописей королевы Швеции в Ватикане имеется драма в стихах, озаглавленная „Мистерия об осаде Орлеана”. В наше время, говорит Миллин, весь Париж сбежался в театр Николая посмотреть пантомиму „Знаменитая осада Орлеанской девы”. Могу добавить, что пантомима на тот же сюжет была поставлена в театре Ковент-Гарден, где героиню, подобно Дон-Жуану, уносил дьявол, низвергавший ее в ад. Полагаю, что, по причине возмущения зрителей, спустя несколько представлений в пьесу был введен ангел, чтобы ее спасти.

Но среди нескольких неудачных произведений на этот сюжет существуют два, которые пользуются печальной известностью: „Орлеанская девственница” Шепелена и Вольтера. Я набрался терпения и внимательно изучил первую, и никогда не заглядывал во вторую».

Из этого перечня становится очевидным, насколько оправданным было нетерпение Дюлиса-отца, насколько велико было его разочарование.

Предварительный авторский комментарий позволяет без лишнего предубеждения прочесть «подлинное» письмо Дюлиса-отца к Вольтеру:

«Милостивый государь,

Недавно имел я случай приобрести за шесть луи д'оров написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнессы Сорель, господ Латримулья, Лагира, Бодрикура и других благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, builliage de Chaumont en Tourgaine), вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Feron), от коего происхожу по прямой линии. А посему не только я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в непременною обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь,

дать мне знать о месте и времени, так же и об оружии вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Имею честь и проч.».

Автор «Орлеанской девственницы» для Дюлиса всего лишь некто Mr. de Voltaire, но письмо его грамотно, благопристойно и обнаруживает знание исторических преданий. Последний потомок знатного рода, обедневший, живущий в своем поместье, в меру невежественный, но сохраняющий чувство собственного достоинства провинциал — такой человек способен внушить читателю скорее симпатию, пусть и не без некоторой снисходительной иронии. Замечено (впервые Н. О. Лернером и Н. К. Козминым), правда, что в письме содержится одна историческая неточность: среди братьев Жанны д'Арк не было Луки (лишь Жакмен, Жак и Пьер). Но Пушкин, наверное, не ошибался, вспоминая о несуществующем Луке д'Арке. Скорее всего, он сознательно отступал от мелочной исторической точности, давая необходимое художественное смещение. Для внимательного читателя это знак того, что произведение — вовсе не журнальный репортаж, что построено оно по законам художественного вымысла (так в «Борисе Годунове» наряду с «реальным» Гаврилой Пушкиным введен на сцену «придуманный» Афанасий Пушкин).

Нельзя не заметить в воссозданной Пушкиным ситуации определенного личностного начала.

В 1830 году в «Северной пчеле» (№ 94) был помещен болгаринский анекдот (о негре, купленном за «бутылку рома»), метивший в прадеда Пушкина А. П. Ганнибала. Пушкин откликнулся на это стихотворением «Моя родословная» и несколькими страницами в «Опровержениях на критики»: «Если быть старинным дворянином значит подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное. Но что есть общего между привязанностью лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства?..

Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины (...). Конечно, есть достоинство выше знатного рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим: Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные — но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами?»

Эти пушкинские рассуждения могут служить сопутствующим комментарием к его «Последнему из свойственников...»: нельзя не заметить некоторого сходства судеб Жанны д'Арк и Кузьмы Минина. Вовсе не значит, конечно, что Дюлис-отец выступает в пушкин-

ском пастеше в героическом ореоле. Его наивность, отсутствие литературного вкуса, его суждения о фривольной, антиклерикальной поэме как об искаженной исторической хронике несомненно забавны. Так проявляется его индивидуальная характерность, обоснованная художественно. Но это не колеблет святости национальных преданий, чрезвычайно дорогой для Пушкина. И уж во всяком случае, если наивность Дюлиса-отца и курьезна, то не в меньшей степени забавна хитрость его именитого корреспондента:

«22 мая 1767

Милостивый государь

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около осьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (*l'impertinente chronique rimée*), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием Генрияды. Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (*votre illustre cousine*) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,
La honte des anglais et le soutien du trone.

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославления Божиих чудес, вместо того чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть, милостивый Государь,
вашим покорнейшим слугою

Voltaire, gentilhomme de la chambre du roi».

Письмо это, превосходно воспроизводящее стиль вольтеровского эпистолярия, имеет тем не менее, как и письмо Дюлиса-отца, своеобразную лирическую тему. Нельзя предположить, что Пушкин в данном случае не вспомнил о деле по поводу его поэмы «Гавриилиада», возбужденном властями в 1828 году. Достаточно вчитаться в официальное объяснение поэта, чтобы такое подобие увидеть.

«Рукопись, — оправдывался Пушкин, — ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное».

Это официальное показание. Но вот строки, касающиеся того же предмета, в «Опровержении на критики»: «Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрек, на совести моей. — По крайней мере не должен я отвечать на перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче, за чужие проказы».

Отметим в этой связи, что в пастише, видимо, недаром действие отнесено к 1767 году. Впервые «Орлеанская девственница» (1725) была напечатана в 1735 году. Но Пушкин намеренно пишет об издании 1765 года — именно оно и попадает в руки Дюлиса. Ниже я еще коснусь собственно пушкинской оценки вольтеровской поэмы, но в данном случае важно подчеркнуть, что и для Вольтера в 1767 году «Орлеанская девственница» могла представляться «грехами молодости», так что в объяснении с простодушным Дюлисом (в 1767 году писатель как раз и закончил свою философскую повесть «Простодушный») ему легче было начисто отречься от авторства, нежели объяснить суть дела (в частности, пародийную направленность поэмы против напыщенного опуса Шепелена, ее антиклерикальный смысл и т. п.).

Образ хитрящего «фернейского мудреца» в пастише неоднократно сравнивался с пушкинской характеристикой его в статье «Вольтер» (помещенной в т. 3 «Современника»). Однако эта характеристика там отнюдь не является односторонней.

«Вообще переписка Вольтера с де Броссом, — замечает Пушкин по поводу хитроумных маневров философа в «войне» за местечко Турне (Tournoy — ср. в пастеше название поместья Дюлисов Tournebi), — представляет нам творца Меропы и Кандида с его милой стороны. Его притязания, его слабости, его детская раздражительность — все это не вредит ему в нашем воображении. Мы охотно извиняем его, и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности». Замечено, что именно из письма Вольтера к де Броссу перенесена в пастеш фраза: «Я стар и хвор». Можно в пастеше увидеть и своеобразный отзвук увещевания, адресованного Вольтеру по поводу его тяжбы: «Вы боитесь быть обманутым (...) но из двух ролей эта лучшая (...) Вы не имели никогда тяжб: они разорительны, даже когда их и выигрываем (...) Вспомните устрицу Лафонтена и пятую сцену второго действия в Скапиновых Обманах (сцену, в которой Леандр заставляет Скапина на коленях признаваться во всех своих плутнях). Сверх адвокатов, вы должны еще опасаться и литературной черни, которая рада будет на вас броситься...» «Вольтер, — замечает Пушкин по поводу стычки с де Броссом, — первый утомился и уступил». Нельзя не признать, что в истории с Дюлисом, сконструированной в пастеше, философ, уступающий сразу же, ведет себя в высшей степени благоразумно.

Повторяем, вся забавная ситуация эта, изложенная в пушкинской статье «Вольтер»,

имеет гораздо большее подобие в пастише, чем вызывающее горестную оценку бесславное столкновение философа с королем Фридрихом II: «Вся эта жалкая история мало приносит чести философии. Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли не привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?..»

Д. Д. Благой, читая пастиш как памфлет, опирается на эту характеристику Вольтера. Но она соотнесена главным образом с заискиванием философа перед королем. В пастише и речи об этом нет. Его маневр с Дюлисом — слабость, конечно, но, как и в истории с де Броссом, представляющая его с «милой стороны».

Если бы пастиш заканчивался письмом Вольтера, мы имели бы дело с анекдотом, подобным тем, которые собраны Пушкиным в его цикле «Table-Talk». Девять из них были напечатаны в «Современнике» и среди них такой: «Надменный в сношениях своих с вельможами, Потемкин был снисходителен к низшим. Однажды ночью он проснулся и начал звонить. Никто не шел. Потемкин соскочил с постели, отворил дверь и увидел ординарца, спящего в креслах. Потемкин сбросил с себя туфли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб не разбудить молодого офицера».

Как Потемкин в данном случае, Вольтер в пастише Пушкина предстает, как нам кажется, вовсе не жалким, но едва ли не снисходительным в своем самоуничижении. Однако завершается пастиш на высокой ноте — «замечаниями» журналиста, которые принято оценивать в качестве авторских, объективных.

Между тем мнения автора и английского журналиста в пастише разграничены вполне отчетливо. Вот авторская точка зрения: «Несмотря на смешную сторону этого дела, Вольтер принял его *не в шутку*» (курсив мой. — С. Ф.). Журналист же начисто лишен чувства юмора — он восклицает: «...вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и m-me Joffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья». Таким образом выясняется, что «правда» и у английского журналиста (как у двух других главных персонажей

пастиша) тоже «своя»: она не истина в последней инстанции.

Если присмотреться внимательно к системе обоснования этой «правды», становится заметным одно довольно забавное пристрастие журналиста: «Судьба Иоанны д'Арк в отношении к ее отечеству поистине достойна изумления. Мы, конечно, должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиги юной пастушки. Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом дьявола, которого исстари они не боялись. По крайней мере, мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат (Саути. — С. Ф.) посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хроники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X-го. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа?..»

Прервем пока речь журналиста. Он претендует на полную объективность, видит прегрешения перед Жанной д'Арк и англичан, и французов, но — говоря словами одного из грибоедовских героев — меру заблуждения двух сторон расценивает так: «Мои суть слабости, а ваши — преступления». Национальные пристрастия журналиста вполне очевидны.

Следующий пассаж филиппики посвящен сравнению двух писателей: Вольтера и Соути — и касается чрезвычайно интересующей Пушкина темы о нравственной ответственности литератора за свои произведения: «Раз в жизни случилось ему (Вольтеру. — С. Ф.) быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он, как римский палач, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит, конечно, поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соуте есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней сте-

пени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества...»

Страстный тон этих обвинений делает их чрезвычайно убедительными. Давно также обращено внимание на сходство некоторых выражений журналиста с собственно пушкинскими. Так и кажется, что из-под маски английского журналиста выглядывает, наконец, сам Пушкин. В самом деле, разве он не замечал в 1834 году об «Орлеанской девственнице» Вольтера: «...он однажды в своей жизни становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, принесены в жертву Демону смеха и иронии, героическая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана...» Столь же значимы и слова о «подвиге честного человека» (точно так Пушкин оценивал «Историю государства Российского» Карамзина).

И все же патетика английского журналиста, при всех его верных оценках, кажется излишней. «Он, как пьяный дикарь, пляшет около потешного огня», — здесь, как отмечено Б. В. Томашевским, заключен намек на вольтеровскую оценку Шекспира, но и по отношению к Вольтеру такой приговор представляется чрезмерным. В восклицании о «сатаническом дыхании» тоже содержится скрытая цитата из статьи Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной так и отечественной»: «Но уже „словесность отчаяния“ (как назвал ее Гете), „словесность

сатаническая” (как говорит Соувей),* словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики». Речь здесь идет о современной Пушкину французской литературе (Гюго, Жанен и пр.), но недаром в связи с французскими романтиками постоянно в пушкинское время вспоминался Вольтер. «Эта мерзкая словесность, — писал, например, журнал «Библиотека для чтения», — уже надоела всем благомыслящим людям, всем отцам и матерям семейств. Еще Гете сказал, по случаю „Орлеанской девственницы”, что качество, которого наиболее недостает французам, — чувство приличия, и юная школа в полной мере оправдала суд великого поэта-философа». Поэтому, надо полагать, мысли Пушкина в статье «Мнение М. Е. Лобанова...» относительно нравственности в литературе правомерно сопоставить и с мнением «английского журналиста» о Вольтере.

«Нельзя требовать от всех писателей, — считал Пушкин, — стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на не подлежащие никакой ответственности. Закон не вмещивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном; закон

* Southey — т. е. тот же Саути, поэт-лауреат.

также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтоб он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого».

Заслуживает внимания и сохранившаяся в бумагах поэта заметка, предназначавшаяся для публикации в «Современнике», — «Путешествие В. Л. П(ушкина)», где высказаны чрезвычайно дорогие для Пушкина мысли: «Для тех, которые любят Катулла, Гресета и Вольтера, — для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпopeи, но и в игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных яснейшей веселостью, — искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств — и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа... Благоговее пред созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc.».

Вот этой широты эстетических вкусов явно не хватает «английскому журналисту». Он в чем-то прав, несомненно, но к нему может быть вполне отнесен шуточный совет пушкинской

притчи «Сапожник»: «Суди, дружок, не выше сапога!».

И уж, конечно, саркастическая концовка статьи «английского журналиста»: «Жалкий век! Жалкий народ!» — также предполагала существенный пушкинский корректив. «Спрашиваю, — замечал Пушкин по поводу подобных обвинений Лобанова, — можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему (...) ужели весь сей народ должен отвечать за произведения нескольких писателей, большею частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающие корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей?»

С другой стороны, это восклицание, в устах «английского журналиста» оборачивающееся национальным пристрастием, в сопоставлении с пушкинским стихотворением «Полководец» (т. 3 «Современника») получало несколько иной, куда более трагический смысл:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
И чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Строки эти могли бы быть эпиграфом к пастиху Пушкина. В самом деле, каждый из представленных в нем оппонентов преследует свои, казалось бы, не мелочные цели. Но как все же несоразмерны эти пристрастия с высо-

ким подвигом Жанны д'Арк, который почти забыт всеми ими во взаимных обвинениях. Называя ее, вызывая ее судьбу в памяти читателей, Пушкин в своем пастише все время кружит вокруг темы предательства. В предисловии к поэме «Жанна д'Арк» Р. Саути сказал об этом вполне определенно: «Восьмого мая годовщина освобождения отмечается в Орлеане; там, как и в Руане, воздвигнут памятник Деве. Ее родственникам было пожаловано королем дворянское достоинство, но можно ли забыть в истории этого монарха, что в час несчастья он предал своей судьбе девушку, которая спасла его королевство?»

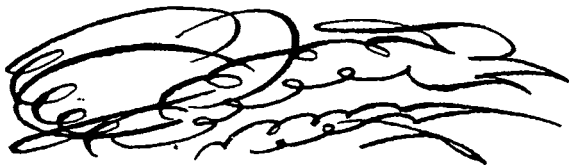
Таким образом, несмотря на то что все три «говорящих персонажа» (Дюлис-отец, Вольтер, английский журналист) касаются остро интересующих Пушкина проблем, ни один из них полностью не выражает авторских оценок. По форме своей представляя газетный репортаж (род заметки из раздела «Смесь»), «Последний из свойственников Иоанны д'Арк» задуман и решен как произведение художественное, со всем богатством его смысловых обертонов.

По своему жанру это отнюдь не памфлет. Нам представляется неточным и отнесение данного произведения к новеллистическому жанру: здесь нет острой фабулы, связывающей в единый узел стремления различных персонажей. Наоборот, сюжет здесь намечается в широкой исторической перспективе, разворачивается на огромных пространствах, сталкивается по закону «случайности» (нежи-

данно и непредсказуемо) крайне различных персонажей, каждый из которых действует сообразно со своим жизнепониманием, отстаивая, по сути дела, интересы больших социальных групп, и именно в столкновении этих стремлений возникает широкая, объективная, почти неисчерпаемая в своих богатых проявлениях правда жизни.

При всем пушкинском лаконизме, здесь мы имеем дело с романной формой литературы. За репортажем, анекдотом, пастишем ощущаются некие столь далекие перспективы на сильно оборванном пушкинском творчестве, которые позволяют предчувствовать в последнем произведении писателя открытия грядущих литературных эпох.





«Прощайте, друзья!»

В тот день Александр Сергеевич проснулся по обыкновению рано, в восьмом часу. Зажег масляную лампу, что стояла на конторке подле дивана, и кабинет сразу же обступили книги. Они теснились на полках вдоль стен, мерцая позолотой корешков.

Наступило 27 января 1837 года. В четыре часа пополудни дело должно было решиться. Пушкин отлично выспался и чувствовал себя как нельзя лучше.

Крикнул, чтобы подали чай. Прикинул в уме, чем нужно заняться с утра. По привычке перебрал бумаги, лежащие на конторке. Под руку попала рукопись: «Камчатские дела» — сделанный еще неделю назад экстракт из книги, которая была тут же — толстенная, в старинном кожаном переплете: «Описание земли Камчатской, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором, изданное вторым тиснением в 1786 году». Соб-

ственно, все подготовительные материалы были готовы, и можно было наконец приняться за статью для очередной книжки «Современника». Но не сейчас... Это подождет.

Рядом с ученым фолиантом лежала книжечка в простой бумажной обложке: «История России в рассказах для детей» — со вложенным в нее письмом, полученным вчера вечером. Автор книжки, писательница и переводчица Александра Осиповна Ишимова, выражала сожаление, что назначенная накануне встреча не состоялась, и приглашала поэта посетить ее сегодня.

Отпивая чай, Пушкин наугад открыл книгу и быстро пробежал несколько страниц. Слог сочинительницы был чист и выразителен: Плетнев не зря советовал поручить ей переводы для журнала.

Накинув халат, Пушкин обогнул поперечную полку, возвышавшуюся над спинкой дивана и, светя себе лампой, уверенно нашел нужную книгу: «Стихотворные произведения Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуоля», изданные в Париже на английском языке.

Книга была особенно Пушкину дорога. Он приобрел ее лет семь назад в книжной лавке Беллизара. Потом в дорожном сундуке, вместе с другими томиками, она отправилась с ним в Болдино. Там, задержанный бушевавшей вокруг холерой, он провел почти три месяца. Это было удивительное время! Все житейские заботы отступили прочь. Писалось легко. И все удавалось.

Сборник стихотворений английских поэтов тоже оказался кстати. Одна из сцен драматической поэмы Вильсона послужила материалом «Пира во время чумы», а произведения Барри Корнуоля отозвались в начальных октавах «Домика в Коломне» и в двух стихотворениях: «Я здесь, Инезилья» и «Пью за здравие Мери». В чем-то особенно близок был этот поэт Пушкину. Не так давно он вновь обратился к его стихам и начал было переводить пьесу «Соккол»:

О бедность! затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мутитель?..

Перевод был оборван на первых строках — слишком уж личные, повседневные заботы прорывались в них...

Сейчас, захватив с собою книгу, Пушкин пристроился у письменного стола, сдвинув в сторону бумаги и книги. Пробежал глазами оглавление, пометил карандашом несколько пьес Барри Корнуоля.

Вошел слуга с запиской от д'Аршиака, секунданта Дантеса. Д'Аршиак настаивал на встрече с секундантом Пушкина. А с ним до сих пор было неясно. Казалось бы, вчера удалось уговорить Артура Меджниса, секретаря английского посольства, — иностранный подданный не подлежал ответственности за участие в дуэли. Однако поздно ночью пришел отказ от него. Тогда Пушкин был вынужден от-

править записку лицейскому товарищу Константину Данзасу, пригласив его зайти в двенадцатом часу. Пока же пришлось отвечать д'Аршиаку так: «Виконт! Я не желаю посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами...»

Отправив записку, Пушкин взял другой листок почтовой бумаги. Легким и изящным почерком, который он обыкновенно приберегал для дам, быстро и складно написал Ишимовой:

«Милостивая государыня
Александра Осиповна!

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Барри Корнуоля. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете их как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть

Милостивая государыня
Вашим покорнейшим слугой
А. Пушкин

27 января 1837 г.».

Так или почти так начинался для Пушкина день 27 января.

...Смертельно раненного поэта привезли домой около шести часов вечера. Успокоив, как мог, жену и выпроводив из комнаты Данзаса и подъехавшего Петра Александровича Плетнева, Пушкин остался наедине с доктором Шольцем. Доктор рассказывал потом Жуковскому: «Пушкин спросил: „Что вы думаете о моей ране?“ — „Не могу скрыть, что она опасна... Не желаете ли видеть кого-нибудь из ваших ближайших приятелей?“ — спросил Шольц. „Прощайте, друзья!“ — сказал Пушкин, в это время глаза его обратились на библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, — добавляет Жуковский, — не знаю...»

А между тем еще в Лицее юный Пушкин писал:

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю,
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Под тонкою тафтою
Со мной они живут,
Певцы красноречивы,
Прозаики шутивы
В порядке стали тут...

Никакого кабинета в ту пору, конечно, у Пушкина не было. В лицейской каморке даже не было и полки книг. Однако своих любимых писателей юный поэт вспоминал не понаслышке. Он читал их в библиотеке своего отца, в богатой лицейской библиотеке.

Едва ли не единственной собственной книгой лицеиста Пушкина были в ту пору стихотворения Жуковского, подаренные в 1815 году автором юному другу, в котором уже тогда угадывали надежду русской литературы.

Пушкин же в то время писал Жуковскому:

Благослави поэт!.. в тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени.
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел...
И ты, природою на песни обреченный,
Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей —
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела.
Нет, нет решился я — без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к безвестному отважною мечтой,
И, мнится, гений ваш промчался предо мной!..

Эти лицейские строки невольно вспоминаются, когда читаешь описание последних мгновений жизни Пушкина.

Жуковский свидетельствовал, что Пушкин подал руку Владимиру Ивановичу Далю, врачу, писателю и лингвисту, и, пожимая ее, проговорил: «Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!» Но очнувшись, он сказал: «Мне было показалось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам: высоко... и голова закружилась».

У дивана стояли друзья... Но они были и там: на книжных полках. Стихотворения Жуковского и Вяземского; «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками народными раскрашенные казакон Владимиром Луганским» (это был псевдоним Даля); книги, привезенные Пушкину из-за границы Александром Ивановичем Тургеневым... И еще были там Дельвиг, Грибоедов, Баратынский, Мицкевич, Рылеев, Кюхельбекер...» Иных уж нет, а те далече», — как-то сказал о них поэт.

Теперь не стало и Пушкина.

Спустя три четверти часа после кончины Пушкина тело его вынесли в гостиную, а кабинет Жуковский запечатал своей печатью, исполняя волю Николая I, сказавшего накануне: «Тебе поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги; ты после их сам рассмотришь».

Однако кроме Жуковского (и фактически вместо него!) разбирать бумаги поэта было поручено начальнику штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельту. 7 февраля рукописи Пушкина и письма к нему, уложенные в два сундука, были вывезены из кабинета «для рассмотрения» — в том числе, согласно описи, — 20 старинных рукописей в переплетах. В сущности, это было уже частью пушкинской библиотеки. Позже удалось установить, что у Пушкина хранился, например, список шутотрагедии Крылова «Триумф», острой сатиры на русское самодержавие. Был у него и полный текст грибоедовской комедии «Горе от ума» — наряду с

первым ее изданием, появившимся с многочисленными купюрами. Среди «старинных рукописей в переплетах» были и разнообразные материалы Петровской эпохи, в частности сатирическая повесть XVIII века «Дело о побеге из Пушкарской улицы петуха от курицы» — остроумная пародия на судопроизводство, установленное Петром I в отношении беглых рекрутов.

Собственно, с отделения рукописных книг от печатных и начался постепенный процесс распыления пушкинской библиотеки. Из «старинных книг в переплетах» в 1949 году удалось обнаружить лишь копию секретных записок Екатерины II (в двух томах), изъятую из библиотеки Пушкина после посмертного жандармского обыска.

Печатные же книги жандармское управление не заинтересовали. Они поступили, вместе с вещами Пушкина, в ведение учрежденной 3 февраля Опекы над малолетними детьми поэта, которая доверила разборку книг помощнику Пушкина по журналу «Современник» А. А. Краевскому. Он в свою очередь перепоручил это дело уже совершенно безвестным Менцову и барону Вельзберху. Когда те приступили к описанию библиотеки, там уже многого не хватало — например, одного из сокровищ пушкинского книжного собрания: первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву». Весь тираж этой книги Радищева был уничтожен по приказанию Екатерины II, случайно сохранилось лишь несколько экземпляров. Но и в ряду этих раритетов пушкинская

книга была особенной: необычайно роскошная, в красном сафьяновом переплете и с золотым обрезом. На титульном листе книги рукою Пушкина было записано: «Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии. Заплачен 200 рублей». Книгу читала внимательно императрица — на полях сохранились ее пометы красным карандашом. Надо полагать, начальник Тайной канцелярии, заплечных дел мастер Шишковский пытал Радищева, сверяясь с пометами императрицы.

Обозначая цену, за которую ему удалось приобрести книгу, Пушкин очевидно не жаловался на расходы (хотя 200 рублей были большими деньгами!), а, скорее, наоборот: отмечал редкую удачу — библиофилы пушкинской поры за первое издание «Путешествия» платили не менее тысячи. Но вот что интересно: имеется достоверное свидетельство о том, что книга Радищева была обещана поэтом известному библиофилу Сергею Дмитриевичу Полторацкому — вероятно, в благодарность за издания петровского времени, которые тот давал Пушкину для исторических занятий. До Полторацкого, однако, книга не дошла: ее забрал себе председатель Опекы граф Г. А. Строганов.

Многие другие книги, хотя и значатся в описи, также потом исчезли. Так, из тридцати четырех прижизненных изданий сочинений Пушкина сохранилась только третья часть «Стихотворений», изданная в 1832 г. Между прочим в ней имеются две пушкинские поправки в тексте «Сказки о рыбаке и рыбке»; в

XIX же веке сказка так и печаталась с ошибками — например: «Жемчуга окружили шею» (Пушкин поправил: «Жемчуга огрузили шею»). Невольно думаешь, сколько было такого рода поправок в других пушкинских изданиях из его библиотеки!

Куда же делись из библиотеки эти издания? Предполагают, что после смерти их разобрали на память друзья и родные Пушкина. Но, вероятно, не только друзья...

Вот в таких условиях происходила посмертная опись библиотеки Пушкина. Равнодушные руки брали книги с полки, прямо с обложки переписывали название, указывая число томов (впрочем, не всегда), и счастье еще, что ставили их на место. Между прочим, некоторые книги в опись попали дважды, записанные обоими чиновниками, а сколько книг по невнимательности не тронуто было ни тем, ни другим? Об этом теперь приходится догадываться по другим источникам. Всего в описи числится 1287 названий — около четырех тысяч томов. Как увидим, библиотека Пушкина была больше.

13 апреля 1837 года появилась «Опись, составленная вообще всем книгам, оказавшимся в библиотеке Пушкина, — на 23 номерованных листах». После этого книги упаковали в 24 ящика и они надолго исчезли из глаз, оставаясь в ведении Опеки, которая хранила библиотеку в складских помещениях Гостиного двора.

До наших дней дошло письмо близкого пушкинского приятеля, одного из известней-

ших русских библиофилов С. А. Соболевского. Странное письмо...

«Библиотека Пушкина, — писал Соболевский из Парижа Плетневу, — многого не стоит: это библиотека не ученая, не специальная, а собрание книг приятного, общекультурного чтения. Книги эти постоянно перепечатаются, делаются издания и лучше и дешевле; очень немногие из них годятся в библиотеки публичные. Итак, не думаю, чтобы их могло купить какое-нибудь правительственное место, а надобно их продать, продать наскоро.

Для таких обыкновенных книг аукционная продажа выгодна, по незнанию толка в книгах публики. Книги же лучшие, солидные, стоящие денег, на этих аукционах разберем мы сами (...). Надобно только, выдавая книги, просматривать, нет ли в них написанного или отдельных записок».

Соболевскому не откажешь в практической сметке. Действительно, «правительственные места» не изъявили желания приобрести пушкинскую библиотеку. А несколько тысяч, которые можно было бы выручить от ее продажи, были бы большим подспорьем семье покойного. О редких же экземплярах книг, как и о книгах с заметками поэта, Соболевский, как мы видели, позаботился особо.

И все же — распродать порознь пушкинские книги! Какое счастье, что этого не случилось!

Может быть, он не знал толком состава пушкинской библиотеки? Нет, знал. 17 мая 1834 года, незадолго до отъезда Соболевского

за границу, Пушкин пригласил его помочь привести в порядок свои книги.

Но взгляд библиофила в этот день, по-видимому, с вниманием задерживался лишь на редкостях — таких, как трехтомное французское издание «Божественной комедии» Данте в роскошных, тисненых золотом переплетах из красного сафьяна, с гравированным портретом великого итальянца, с оттиском какого-то графского герба, оставшегося от прежнего владельца. Изданная в Париже в 1596 году, это самая старая книга в пушкинской библиотеке. Пять других изданий сочинений Данте, на языке оригинала и по-французски, библиофила заинтересовать не могли. Но одно только количество дантовских книг у Пушкина (по текстам отчасти повторяющих одна другую) — весомое свидетельство того, что значил Данте для русского поэта. Нет, не случайно покупал, скажем, в Москве Пушкин книгу, помня, конечно, что почти такая же имеется в его петербургской библиотеке. Но, значит, снова ему понадобилось заглянуть в Данте!

В 1829 году на Кавказе, куда отправился Пушкин, чтобы встретиться с друзьями, чтобы оживить юношеские воспоминания, он напишет:

Зорю бьют... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает.
Звук привычный, звук живой,
Сколь ты часто раздавался

Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой...

Спустя год, в Болдине, дантовскими терцинами будет начато одно из самых загадочных пушкинских стихотворений:

В начале жизни школу помню я;
Там нас детей беспечных было много;
Неровная и резвая семья;

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго...

А сколько в пушкинских стихах, прозе, письмах прямых и скрытых цитат из Данте — их еще предстоит раскрыть в полном объеме, для того чтобы точнее понять мысль Пушкина.

Здесь необходима одна оговорка. Поиски откликов Пушкина на прочитанные книги кажутся подчас в работах пушкинистов излишними. Мы с детства помним точное определение, которое впервые сформулировал Иван Киреевский, а потом неоднократно повторял Белинский: «Пушкин — поэт действительности». Но в том-то и дело, что действительностью любого человека является не только окружающий его материальный мир, но и завещанный ему предыдущими поколениями духовный опыт. И каждый гениальный писатель необходимо наделен не только обостренной впечатлительностью, но и счастливой способностью наиболее полно аккумулировать в себе энергию человеческой мысли.

Вот почему кабинет Пушкина, его библиотека — тоже были его действительностью.

О широте пушкинских интересов свидетельствует уже состав его библиотеки. Книги на четырнадцать языках (кстати, подсчитано, что в пушкинских бумагах сохранились записи и выписки на 16 языках, не считая русского). Здесь были широко представлены изящная словесность, фольклор (как русский, так и общеславянский), теория и история литературы, история России и зарубежных стран, статистика и этнография, география и путешествия, языковедение, естествознание, юридические науки...

И конечно же, Соболевский был не прав, не заметив тщательного подбора книг у Пушкина по особо интересующим его темам. Скажем, в библиотеке было более десятка изданий и переводов «Слова о полку Игореве» (практически все, выпущенные к тому времени!) и масса изданий, позволяющих навести самые разнообразные справки об этом выдающемся памятнике древнерусской литературы. Известны, например, выписки Пушкина, в связи с его работой по «Слову», из старинного руководства по соколиной охоте — «Книги, глаголемой Урядник, нового уложения и устройства чина сокольничья пути». В 1836 году Александр Иванович Тургенев сообщал своему брату: «Пушкин давно занимается „Песней о полку Игореве“ и издает ее с примечаниями (...) Он хочет сделать критическое издание сей песни (...) и показать ошибки Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему

нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикой, а других — смехом».

Богатейшая коллекция книг собрана была Пушкиным и в связи с его работой над историей Петра I. Здесь были составленные Голиковым «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» — в 13 томах, а также 18 томов «Дополнений», два из которых занимали письма Петра (около полутора тысяч). В 48-томном «Полном собрании законов Российской империи» несколько томов отражали с большой полнотой государственную деятельность Петра, многие законы писались под его диктовку или даже его рукой. Было и десяти томное «Собрание разных сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деятельности Петра Великого». Были у Пушкина «Журнал, или Поденная записка Петра Великого с 1698 года до заключения Нейштатского мира» (составленная во многом самим Петром история Шведской войны); «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова, от создания сего городка до возвращения оного под российскую державу»; вольтеровская «История России в царствование Петра Великого» с включенными в нее материалами, подготовленными Ломоносовым; «Житие и славные дела государя императора Петра Великого (...) Ныне первее на славянском языке списана и издана. В Венеции. 1772» сербского писателя Захария Орфелина; шеститомная «История Петра Великого», переве-

денная с немецкого языка; «Материалы о жизни Петра Великого», изданные в Лондоне; «Военная история походов россиян в XVIII веке» в четырех томах, написанная Бутурлиным; жизнеописания многих сподвижников Петра, путешествия иностранцев по петровской Руси, карты петровского времени. И еще множество рукописных источников — например, купленные по 50 рублей рукописные «Жизнь Петра» и «Жизнь Екатерины», подлинники петровских писем, — не говоря уж об огромном количестве собственных выписок Пушкина из архивных документов.

«В наше время, — писал Пушкин, — главный недостаток, отзывающийся во всех ученых сочинениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых изысканий. Что из того происходит? Наши так называемые ученые принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною взглядов, приноровлением модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не продвигают науки ни на шаг...»

Библиотека Пушкина наглядно свидетельствует о его постоянном стремлении «в просвещении стать с веком наравне».

Уже в середине XIX века раздались голоса о необходимости изучения библиотеки Пушкина. В 1855 году известный писатель и критик А. В. Дружинин писал: «Библиотека Пушкина

не могла пропасть без следа. Сведения о любимых книгах Александра Сергеевича, изложение его заметок со временем будут собраны. Странно подумать, что мы можем по месяцам проследить за ходом чтения англичанина (поэта) Соути и знаем так мало о том, что читал поэт, которым гордится наше отечество».

А тем временем пушкинские книги переместились из Гостиного двора в подвалы казармы конного полка, которым командовал П. П. Ланской, второй муж Наталии Николаевны. Затем библиотека была перевезена в село Ивановское под Москвой, откуда отправлена в село Лопасню (тоже неподалеку от Москвы) и снова вернулась в Ивановское. Каждое перемещение несомненно ухудшало состояние книг, и без того попорченных при хранении. А сколько было утрат! Так, при перевозке библиотеки из Лопасни там был забыт ящик с 31 тетрадью большого формата — пока этого ящика хватились, девять тетрадей уже были израсходованы на хозяйственные нужды и безвозвратно погибли. А это была написанная Пушкиным в предварительной редакции «История Петра» (издана она была уже в годы Советской власти).

О библиотеке Пушкина вспомнили вновь в связи с подготовкой столетнего юбилея поэта — в село Ивановское был направлен молодой историк Борис Львович Модзалевский. «Приехав в сельцо Ивановское, — вспоминал он, — я встретил со стороны Александра Александровича Пушкина (внука поэта) самый радушный прием и полное содействие вы-

полнению моей задачи. Библиотека оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами, многие книги были помяты или растрепаны, спешно она была разобрана (...) уложена в 35 ящиков и отправлена до станции Бронницы на подводах, а затем — по железной дороге. В Петербург книги были доставлены 1 октября и временно помещены в одной из комнат Славянского отделения Библиотеки Академии наук. Таким образом библиотека Пушкина, свыше 60 лет странствовавшая и подвергавшаяся всевозможным случайностям, снова, хотя и не в полном виде, вернулась в Петербург — на этот раз навсегда».

В седьмой главе романа «Евгений Онегин» Пушкин так описывал впечатление Татьяны от знакомства с библиотекой героя:

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

Так и в библиотеке самого Пушкина. Только, конечно, его пометы на книгах еще более

разнообразны. В тех случаях, когда замечания поэта должны были принять пространныю форму, мы видим вкладные листики почтовой бумаги, покрытые записями Пушкина и вложенные в соответственные места книги. В томик своего любимого поэта Андре Шенье он вписывает его стихотворение, не вошедшее в издание. На книге английского поэта Колриджа записывает: «Куплено 17 июля 1835 года, в день Демидовского праздника, в годовщину его смерти». Особенно много помет в книгах, использованных Пушкиным в работе над историческими трудами.

Некоторые пометы любопытны в ином отношении.

Например, в библиотеке была книжка «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, Царя Египетского, из таинственных свидетельств Древнего Египта взятая». На ней надпись детским почерком: «Сия книжка приглупая, глупая». Некоторые пушкинисты предполагают, что надпись эта сделана в детстве Пушкиным — если это так, то значит здесь сохранился первый его автограф.

А вот другая, заготовленная впрок для брата Льва: «О запое и о лечении оного. В наставление каждому, с прибавлением подробного изъяснения для неврачей о способе лечения сей болезни. Сочинение доктора Бриль-Крамера». На книжке надпись рукой поэта: «Милостивому Братцу Льву Сергеевичу Пушкину». Лев Сергеевич, как известно, был привержен Бахусу...

На одной из книг набросаны шуточные стихи, адресованные Анне Петровне Керн:

Мне изюм
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в рот,
Пастила нехороша
Без тебя, моя душа.

Здесь же рукой Анны Петровны помечено: «19 октября 1828 г. С.-Петербург».

Мы вспоминаем о таких книгах из библиотеки Пушкина с улыбкой, и, право же, без них она тоже была бы неполна. В конце концов, библиотека всегда отражает личность ее хозяйина, а разве можно представить себе Пушкина без его шуток, острот, розыгрышей!

И конечно, книги Пушкина хранят память о его друзьях. Подсчитано, что с 1828 по 1837 год 823 книги Пушкин получил в дар. На многих из них были дарственные надписи — Жуковского, Кюхельбекера, Дельвига, Баратынского, Гнедича, Федора Глинки, Вельтмана, Лажечникова, Панаева, Соболевского, Сомова, Погодина, Александра Тургенева, Василия Каратыгина, Слепушкина, Суханова и многих других. На парижском издании стихотворений Мицкевича надпись: «Александрю Сергеевичу Пушкину за прилежание, успехи и благонравие. Сергей Соболевский»; на томике произведений Байрона: «Байрона Пушкину почитающий их обоих Адам Мицкевич». Между страниц поэмы декабриста Федора Глинки «Карелия» сохранились засушенные цветы.

В двух книгах имеются заметки Петра Чаадаева...

Все эти и многие другие пометы отражены в описании библиотеки Пушкина, выполненном Б. Л. Модзалевским и вышедшем из печати в 1910 году (здесь зарегистрировано 1522 названия, более 4300 томов). А сама библиотека в 1906 году была приобретена Академией наук и стала основой богатейших сокровищ только что образованного Пушкинского Дома.

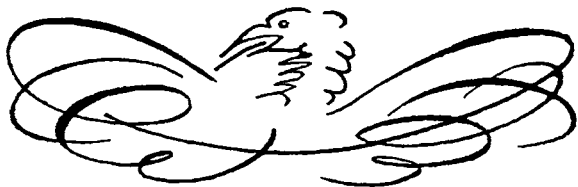
Библиотека Пушкина занимает отдельную комнату. В старинных высоких шкафах покоятся тщательно отреставрированные книги поэта. Сложными путями сюда пришли некоторые из них, в разные годы отделившиеся от библиотеки. Встал на полку «Сборник произведений английских поэтов», отосланный Пушкиным А. О. Ишимовой в день дуэли. Вернулся и уникальный экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву». Первое издание поэмы «Руслан и Людмила» возвратилось в библиотеку в роскошном переплете и с золотым обрезом — но при этом были обрезаны поля страниц, на которых имелось множество карандашных помет и исправлений, сделанных Пушкиным при подготовке в 1828 году второго издания поэмы. Несколько пушкинских книг обнаружены в других библиотеках нашей страны.

Однако множество пушкинских книг до сих пор еще не разысканы. Неизвестно, где находятся сейчас «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова с замечаниями Пушкина, 35-томное

издание «Энциклопедии Дидро и д'Аламбера» и 48-томное «Полное собрание законов Российской империи», подарок чешского филолога Шафарика — его труд по истории славянских языка и литературы всех наречий, издание «Слова о полку Игореве», некогда переданное поэту Александром Ивановичем Тургеневым, — с пометами А. Я. Италийского, дипломата и археолога, с его объяснениями по восточным языкам, и ряд других изданий, о наличии которых в пушкинской библиотеке мы знаем доподлинно из различных источников.

Как хочется надеяться, что со временем и они будут найдены!





«Люблю тебя, Петра творенье»

Еще в древние времена говорили: «Чтобы понять поэта, нужно отправиться на его родину». Пушкин родился в Москве, но его поэтическим отечеством стало петербургское предместье, Царское Село. С городом на Неве связаны важнейшие события бурной жизни Пушкина. Здесь он был смертельно ранен на дуэли, здесь он умер.

И все же, когда мы произносим: «Пушкинский Петербург», — мы вспоминаем прежде всего не биографию поэта. Мы вспоминаем его произведения. И первые строки, которые приходят на память, это:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.

Пушкинский Петербург — это не только историко-биографические реалии, но вместе с тем и прежде всего высочайшая культурная ценность, впервые открытая Пушкиным. Вызванный к жизни «железной волею Петра», возведенный на болоте трудом сотен тысяч неизвестных крепостных, украшенный великолепными архитектурными ансамблями, Петербург в нашем представлении недаром остается *Пушкинским*. По праву первого русского поэта он дал свое имя этому прекрасному городу на Неве, выразив его в своем творчестве.

Впервые Пушкин побывал в Петербурге во младенчестве, в 1800—1801 годах. От этой поездки в его памяти, по семейным преданиям, сохранилось одно событие: встреча с Павлом I. О ней Пушкин собирался поведать в автобиографических записках и упомянул в письме к жене от 20—22 апреля 1834 года: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий, хоть и упек меня в камер-пажи под старость, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут».

Спустя десять лет его снова привез в столицу дядя Василий Львович, которому было поручено отдать мальчика в Иезуитский колледж. Однако основание в ту пору Царскосель-

ского Лицея окончательно решило судьбу будущего поэта.

Прежде чем на шесть лет скрыться в Царском Селе, Пушкин прожил в 1811 году в Петербурге около трех месяцев (как предполагают, в Демутовом трактире). Нельзя сомневаться, что, по контрасту с патриархальной Москвой, его поразила регулярный город на Неве с прямыми улицами и проспектами, на которых теснились стройные громады зданий. Было бы напрасно тем не менее в лицейских стихах юного поэта искать реальные впечатления от столицы, хотя упоминания о ней здесь и встречаются.

Легкая поэзия, традициям которой следовал лицеист Пушкин, предписывала противопоставлять город с его шумными удовольствиями уединению, покою, общению с музами. В таком ключе «Петрополь» в ранних стихах Пушкина и вспоминается; вспоминается, конечно, более по установленным в поэзии образцам, нежели по личному опыту:

На тройке принесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
С утра и до утра
Два года все кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая, веселился
В театре, на пирах...

Допушкинская русская поэзия собственно о Петербурге была научена говорить только в двух тональностях: торжественно-ликующей

или сатирической. Образец первой из них мы находим в оде Ломоносова (1748):

В стенах Петровых протекает
Полна веселья там Нева,
Венцом, порфиною блистает,
Покрыта лаврами глава.
Там равной ревностью пылают
Сердца, как стогны все сияют
В исполненной утех ночи...

Еще менее конкретен был державинский сатирический эскиз города, подмененный, в сущности, картиной нравов:

Зачем же в Петропóль на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы на затворы,
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть
И пред вельможей пышны взоры?..

В какой-то степени Пушкин-лицеист осваивает обе эти традиции (они отзовутся и в его последующем творчестве). Выйти же из-под их власти он в то время еще не мог. Для того чтобы выразить Петербург в поэзии, необходимо было ее реформировать.

По-настоящему знакомство с Петербургом у Пушкина началось в июне 1817 года, когда после окончания Лицея он поселился у родителей, в доме Клокачева на Фонтанке, поступив на службу в Коллегию иностранных дел.

«По последнему исчислению, — сообщалось в описании столицы тех лет, — жителей в Петербурге считается 281 709 мужеска пола и

104 285 женского* и находятся в нем 3109 каменных и 5283 деревянных дома, в том числе 109 фабрик и 131 завод. Сверх того, 113 церквей (кроме домовых) греческого вероисповедания и 33 — других исповеданий. Петербург имеет в окружности $33\frac{1}{2}$ версты и 9 в поперечнике и заключает в пределах своих 7 островов, омываемых 10 рукавами Невы. Город разделен на 12 частей, имеющих 54 квартала и 431 улицу».

Город и в ту пору — в своей центральной части — был уже величествен, хотя главные его площади и проспекты подвергались бесконечным перестройкам. «Петербург 1820-х годов, — свидетельствовал современник поэта, — и в материальном и в нематериальном отношении был мало похож на теперешнюю столицу. Я не буду исчислять всех этих различий. Главные — состояли в том, что многие великолепные здания, как Исаакиевский собор, Главный Штаб, великокняжеские дворцы, или не существовали, или только начинали строиться. Это давало городу вид чего-то недоконченного. Приезжавший (в 1829 г. — С. Ф.) с по-

* Преобладание «мужеска пола» над «женским» объяснялось не столько большим количеством военных, сколько тем, что «Петербург прежде всего притягивал мужскую рабочую силу, так как на строительстве, на фабриках и заводах, в ремесле преобладал мужской труд. Из деревень на работу в Петербург приходили мужчины и жили здесь десятилетиями в отрыве от семьи» (Жопаев А. И. Население Петербурга в первой половине XIX века. М.; Л., 1957. С. 19).

виною по случаю умерщвления в Тегеране Грибоедова сын наследника персидского престола Хозрев-Мирза говорил, что Петербург будет прекрасный город, когда „обстроится”. Притом наружность улиц и площадей утомляла однообразием; очень немного было утвержденных планов и фасадов, по которым позволялось возводить новые постройки; те же ограничения существовали и для окраски: почти исключительно принят был бледно-желтый цвет для самых корпусов с белым для фронтонов, колонн, пилястров и фризов. Поэтому целые, даже главные улицы имели какой-то казарменный вид; вместо теперешнего бульвара Адмиралтейство было окружено каналом, посередине Невского проспекта от Казанского до Аничковского моста шел бульвар для пешеходов, обсаженный тощими липами, которые не могли достигнуть своего роста от беспрестанного сотрясения грунта проезжающими экипажами».

К тому же, жителю Коломны, петербургской окраины, Пушкину был особенно заметен неоднозначный облик города на Неве.

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —

скажет об этом Пушкин, — но значительно позже (в 1828 г.). Пока же в его поэзии облик города остается невоплощенным. Заметно, что пушкинская поэзия этих лет обычно не выходит за пределы интерьера, — ср., например, стихотворение «Тургеневу» (1817):

На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де-Лаваль...

Дружеский кружок Пушкиным по-прежнему противопоставляется «бездушным собраниям», «где ум хранит невольное молчанье, где холодом сердца поражены». Именно эта сосредоточенность на дружеском общении и не позволяет поэту, вероятно, воспевать столицу, оплот казенщины и скуки, как он ее в то время воспринимает. На площадь его муза выходит лишь тогда, когда клеймит деспотизм верховной власти, — как это мы видим в оде «Вольность», где — в единственном из ранних петербургских стихотворений — мы находим петербургский пейзаж:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец...

За вольнолюбивые стихи Пушкин был выслан из Петербурга в мае 1820 года. Гоненье, обрушившееся на поэта, было одной из первых разительных примет утверждавшегося в Рос-

сии (и прежде всего в ее столице) аракеевско-го режима. Спустя десять лет, осмысляя в декабристской ретроспективе события молодости, Пушкин по-новому осветит воспетые им в петербургские годы «дружеские споры» «между Лафитом и Клико»:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал,
Читал свои Нозли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

Из ссыльного далека воспоминания о петербургском дружеском круге становятся все более и более сладостными. Перед мысленным взором поэта возникает «лампада» («Зеленая Лампа»), «подруга бдений и пиров»; сцена и «кулисы» петербургского театра; кабинет «мудреца и мечтателя» Чаадаева в Демутовом трактире; «чудное мгновенье» первой встречи с А. П. Керн в гостиной Олениных; петербургская книжная лавка, вокруг которой бродят «нетерпеливые чтецы»; застолье на берегах Невы в честь годовщины открытия Лицея...

Только на фоне постоянных раздумий о Петербурге понятна закономерность возникновения у Пушкина замысла романа в стихах «Евгений Онегин», в первой главе которого с сочувственной иронией прослеживается день петербургского повесы. Сначала приметы петербургского пейзажа мелькают здесь лишь в

названиях: Летний сад, бульвар, ресторан Talon, театр... Театральная зала, однако, вполне подвластна уже перу поэта:

Театр уж полон: ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит,
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес летит, —

может быть, потому подвластна, что раньше, хотя и в необходимом тогда сатирическом ключе, Пушкин уже рисовал театр изнутри («К молодой актрисе», «К Галичу» — 1815). Но теперь, в 1823 году, взгляд поэта переносится на театральную площадь и в поле его зрения вдруг появляются «усталые лакеи», которые «на шубах у подъезда спят», и кучера, которые «вокруг огней бранят господ и бьют в ладони». Нельзя не оценить принципиального значения найденной поэтом детали столичной жизни. Дело не только в том, что в стихотворный роман проникают как эстетически равноправные со всем прочим картины, которые до Пушкина казались уместными разве что в басне, в ирои-комической поэме да в «теньерском» очерке простонародных нравов. Главное заключалось в том, что, преодолевая шоры литературной традиции, поэт начинает прислушиваться к «мнению народному», которое в конечном счете многое определяет не только в трагедии «Борис Годунов», но и в художественном мире «Евгения Онегина».

Когда-то Пушкин в прозаическом наброске «Наденька» (1819) остановился на фразе:

«Они сели на дрожки и полетели по мертвым улицам Петербурга». Теперь поэт способен изобразить движение по «мертвым улицам», улавливая причудливую игру светотени:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

Но еще более удивительно, как может теперь Пушкин увидеть то, что неведомо Онегину, — трудовое утро столицы:

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он;
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден,
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке не раз
Уж отворял свой васисдас.

В сущности, эта реально-конкретная и сочная (лишенная начисто сатирической насмеш-

ки) зарисовка столицы была первым открытием Петербурга в поэзии. С этих пор Петербург и стал воистину Пушкинским, так как до Пушкина никем не был столь наглядно выражен. Прекрасно зная современную ему русскую поэзию, в примечаниях к первой главе романа Пушкин смог указать лишь идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки», в которой торжественными стихами была описана красота белых ночей Петербурга:

Вот полночь: шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; разъехались гости градские;
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо;
Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою;
Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
Где в ночь откликается ратная стража со стражей.
Все спит...

Однако в полном соответствии с жанром идиллии у Гнедича городские приметы намеренно приглушены: взор его прикован к ночной реке, которая поглощает всю городскую суету и сутолоку. Пушкин же и в ночной тиши улавливает не затихающий ни на миг пульс города, ощущая социальную окраску городских звуков:

Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожek отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке,
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...

В первом издании «Евгения Онегина» Пушкин намеревался проиллюстрировать эту строфу, набросав собственный эскиз картинки, на которой герой и автор романа должны были быть изображены у гранита невской набережной, на фоне Петропавловской крепости (именно оттуда и доносилась переключка часовых) и судна под парусом, направляющегося мимо крепости к устью Невы.

Подобная картинка появилась позже в «Невском альманахе на 1829 год». На гравюре Е. Гейтмана по рисунку А. Нотбека изображены Пушкин и Онегин, лицом к зрителю. Рисунок перегружен деталями: здесь и решетка Летнего сада, и гранитная набережная с гранитным столбиком, и Петропавловская крепость, и крытая лодка с двумя гребцами, а вдали угадываются Троицкий плашкоутный мост и продолжающаяся за Летним садом перспектива домов на набережной.

Летом 1829 года в Пятигорске этот альманах попался на глаза Пушкину и вызвал язвительные стихи:

Вот перешед чрез мост Кокушкин
Опершись... о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.
Не достаивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.

На эскизе Пушкина автор был изображен со спины, смотрящим одновременно на кре-

пость и символ свободы — парус, что определяло весь эмоциональный строй предполагаемой иллюстрации, выраженный в онегинских строках:

Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы душой
К началу жизни молодой.

Художник не понял замысла поэта: город на его иллюстрации — лишь декоративный фон. Вероятно, мещанскую аляповатость «роскошной картины» и высмеял прежде всего поэт, «обмолвившись» в самом начале: «Вот перешед чрез мост Кокушкин...» Между тем гранитный мостик через канавку, идущую вдоль Летнего сада, назывался Лебяжьим (как и канавка). Кокушкин же мост находился вдали от этих мест — на Екатерининском канале. В отличие от строгой Дворцовой набережной в тех краях все было иначе: вместо Летнего сада — Сенной рынок, вместо пустующего Петропавловского собора — оживленная церковь Спаса, вместо крепости — гауптвахта... — т. е. соотношение между онегинским текстом и картинкой в альманахе было примерно такое же, как (говоря словами Пушкина) между «белой лебедью» и «бестолковой кукушкой».*

В какой-то степени тон пушкинской эпиграммы был определен и общим безотрад-

* Кокушка — то же, что и кукушка (см.: *Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 135*).

ным впечатлением поэта от Петербурга в те годы.

Пушкин возвратился в столицу в мае 1827 года. Ссылка кончилась, поэту было объявлено «высочайшее прощение», но воли он так и не почувствовал. Петербург, напоминавший на каждом шагу о друзьях молодости, многие из которых томились в «мрачных пропастях земли», казался холодным и скучным.

Петербург в это время Пушкину чужд. Недаром в 1827—1830 годах он останавливается неизменно в Демутовом трактире, не заводя собственного жилья, чувствуя себя в столице временным гостем, и при первой возможности сбегает из столицы то в Москву, то в Малинники, то в Михайловское, то на Кавказ, то в Болдино.

Сам поэт борется с гнетущим духом, не давая ему овладеть собою. Недаром из черновика октав, которые позже разовьются в поэму «Домик в Коломне», — откликаясь на журнальную травлю, обрушившуюся на него в 1829 году, — Пушкин вычеркнул беглое упоминание о сумасшедшем доме: «Что в желтый дом могу на новоселье как раз попасть...»

Пока же, в 1830 году, рассказанная в октавах петербургская повесть «Домик в Коломне» заканчивается вполне благополучно: из домика бедной вдовы и ее хорошенькой дочери изгоняется не бес, а вполне земной любитель приключений — видимо, из «гвардейцев черноусых». Заметно, однако, что шуточный тон повествования Пушкину дается не без труда: мы встречаем здесь и вставную, не разверну-

тую в отдельный сюжет «грустную повесть» о молодой графине, живущей в Коломне, и безусловно личное замечание («От ямщика до первого поэта мы все поем уныло. Грустный вой песнь русская»), и невольно вырывающееся признание — при взгляде на новые постройки, изменившие вид родной по юношеским воспоминаниям Коломны:

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему озлобленному взору
Приятно было пламя...

Кощунственность этого признания мог в полную меру оценить петербургский житель того времени. Пожары были постоянным бедствием столицы.

Поэтому в следующей октаве поэт резко обрывает себя:

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею... —

и вновь петербуржец в этой отвлеченно-аллегорической картине угадывал нечто знакомое: крепко правящий всадник, который давит змею, — да это же мелькнувший в воображении поэта Медный всадник, стерегущий свое творение, город на Неве.

Потому-то так и тревожил читателей некий ускользающий подтекст поэмы. Рассказ здесь

был действительно сведен к анекдоту, наполненному точными реалиями петербургской Коломны. Но было в поэме и нечто другое: тревожный лирический фон, предвещающий поздние произведения Пушкина о Петербурге, и прежде всего поэму «Медный всадник».

С 1831 года Пушкин обосновался в столице семейно, в первый раз сняв собственную квартиру в доме Брискорн в Галерной улице. К этому времени несколько приумолкла травля Пушкина в журналах, где вскоре стало принято отзываться о нем со снисходительным сожалением по поводу «падения» его таланта и влияния на публику.

Пушкин был принят на службу: ему поручили написать историю Петра I. Подготавливая материалы для этого труда, писатель всегда был особенно внимателен к документам, касающимся основания северной столицы и ее строительства. Еще в 1827 году в романе о царском арапе он дал краткую, но выразительную картину петровского Петербурга: «Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами».

Пушкину тем легче было представить себе грандиозные масштабы строительства города,

что оно продолжалось и при нем. На глазах поэта были возведены, изменив облик центральных улиц и площадей, здания Главного штаба (1829), Сената и Синода (1832), Александринского театра (1832), Голландской и Петровской церквей на Невском проспекте (1832), поставлены Александровская колонна (1832, торжественное открытие — в 1834 г.), Нарвские и Московские ворота (1833). Но и контрасты города к этому времени стали особенно очевидны. Разноречивые черты Петербурга довольно точно схвачены в описании города 1830-х годов: «Петербург, рассматриваемый со стороны характеристической, представляет теперь как бы отдельные города: военный, торговый, губернский и столичный. Желаете ли убедиться, войдите в одну из угловых (угловых. — *С. Ф.*) башенок Петропавловской крепости и посвятите несколько минут наблюдениям. Из одного окна, обращенного к Адмиралтейству, вы увидите пышную, великолепную столицу. Из другого, к Бирже, — деревья мачт, иностранные разноцветные флаги, суетливых маклеров, груды товаров, многочисленное собрание купцов, услышите даже шум спорящих партий и унылые напевы *Santa Maria* задумчиво сидящего на палубе шкипера — разве это не торговый город? Из третьего, — к Петербургской стороне, рисуются перед вами скромные, деревянные домики, полускрытые в зелени садов, огороды... Наконец, из четвертого, — к самой крепости, пушки, мортиры, ядра, размеренные шаги часового, какую-то суровую тишину, перерывае-

мую глухим темпом ружья, сменой или переключкою караула».

Город постоянно подвергался напору стихии. Самое грандиозное петербургское наводнение произошло в 1824 году, когда Пушкин жил в Михайловском, но к его приезду в Петербург не только не стихли толки об этом бедствии, но и сохранились его следы. Задумав в начале 1830-х годов новый роман в стихах («Езерский»), Пушкин предполагал открыть его картиной петербургского наводнения и, вероятно, для этого — с навыком историка — изучил материалы о наводнении по петербургской прессе середины 1820-х годов и двум специальным описаниям С. Аллера и Н. Борха.

Два происшествия накануне отъезда из Петербурга в Болдино в 1833 году способствовали возникновению замысла поэмы «Медный всадник». 10 августа Пушкин присутствовал на торжестве по случаю спуска на воду 84-пушечного корабля «Владимир» и запечатлел это событие в стихотворении:

Чу, пушки грянули! Крылатых кораблей
Покрылась облаком станица боевая,
Корабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей,
Качаясь, плавает, как лебедь молодая.
Ликует русский флот. Широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула в острова...

В день же самого отъезда Пушкину зримо открылся иной облик Петербурга, о чем он писал жене 20 августа 1833 г.: «Милая женка, вот подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от

тебя я уехал в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы».

Основание Петром новой столицы, праздничный облик города, быт петербургских окраин и грозное бедствие — все это слилось в поэме «Медный всадник», определив ее сложный образный строй.

В исторической и философской литературе ко времени Пушкина в течение столетия не умолкал спор о реформах Петра, в ряду которых едва ли не самой дерзкой было основание, наперекор стихиям, новой столицы. Пушкин вступает в этот спор как художник, глубже, чем все его предшественники, ощущая сложность историко-философской проблемы. Он уверен, что противоборство со стихиями выиграно Петром. Петербург, «полнощных стран краса и диво», будет стоять «неколебимо, как Россия». Внимание поэта-мыслителя направлено на социальные следствия петровских реформ.

Произведению дан подзаголовок «петербургская повесть», и оно действительно может быть прочитано как предельно точное в бытовых реалиях и по психологизму повествование о горестной судьбе столичного обывателя, добывающего своим трудом «и независимость, и честь». Мечты его не простираются далеко: он весь в заботах о насущном. И, когда страшное наводнение смывает домик, где жила его любимая, мир Евгения рушится, разум его угасает. Поэтому понятен и бунт его, и возникающее в больном воображении преследование Медным всадником, и, наконец, тихая смерть на пороге занесенного на пустынный остров, дорогого его сердцу домика.

С другой стороны, разве не главный, не подлинный герой поэмы Петр Великий, о дерзком замысле которого «ногою твердой стать при море», «в Европу прорубить окно» говорится в самом начале? Разве не искренне восхищен поэт «Петра твореньем»? И, наконец, несомненно, что историческое движение России, заданное петровскими преобразованиями, еще не исчерпано, по мнению поэта:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Два намеченных выше сюжетных «хода» поэмы (со стороны Петра и со стороны Евгения) почти до самого конца не пересекаются —

вплоть до того эпизода, в котором Евгений на миг становится вровень с «горделивым истуканом». В бедном безумце «прояснились страшно мысли», и ведем взором он прозревает тогда грядущее возмездие всеильному пока властелину судьбы:

И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..»

Здесь важно понять, от лица какой силы грозит Медному всаднику Евгений. Об этом в поэме сказано вполне определенно и недвусмысленно:

...Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него...

Вот что способно, как мнится Евгению в минуту просветления, опрокинуть медного истукана.

В этом отношении представляется особенно многозначительным одно из авторских примечаний к поэме: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений „Oleszkiewisz”. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта». Дело в том, что как в «Олеш-

кевиче», так и в других главах третьей части поэмы Мицкевича «Дзяды», посвященных России, образ стужи метафорически соотносится с гнетущей силой самодержавия, сковавшей творческие силы русской нации. При этом в главе «Памятник Петру Великому» Мицкевич именно в уста Пушкина вкладывает свое понимание исторического пути России:

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед, —
Но если солнце вольности блеснет
И с Запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?

Не так уж важно, передает ли здесь польский поэт какие-то подлинные слова Пушкина (по-своему в таком случае их перетолковывая), — важно, что Пушкин в любом случае не мог не уточнить свою позицию, касаясь той же проблемы, используя тот же образ Медного всадника. Не об этом ли сигнализирует примечание «Нева не была покрыта льдом...»? Едва ли речь здесь шла о межном уточнении.

Стихия мятежа — так осмысливается в поэме образ бушующей Невы:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры лезут в окна...

...Так злодей
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..

...Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах...

Величественный итог петровских преобразований зримо воплощен для поэта в любимом городе. Исторические же следствия этих преобразований еще не исчерпаны и в полной мере в будущем проявятся через мятежную силу народа.*

Поэма «Медный всадник» по-своему исчерпала одну из главнейших тем творчества Пушкина — тему Петербурга. Это, конечно, не значит, что позднее поэт не обращался к петербургским впечатлениям. В поздней лирике он часто от них отталкивался, чтобы перейти к осмыслению своей судьбы и судьбы своего поколения, соотношения преходящего и вечного, суеты мнений и высших нравственных ценностей («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»),

* Нельзя забывать, что одновременно с поэмой в Болдино в 1833 году Пушкин заканчивает и «Историю Пугачева». Специальные «Замечания о бунте», где Пушкин гораздо откровеннее, нежели в самой «Истории», заканчивались следующим утверждением бессмысленности бунта: «Нет худа без добра. Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен...»

«Перед гробницею святой...», «Полководец», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Была пора: наш праздник молодой...»).

Действие многих незавершенных прозаических произведений Пушкина также должно было протекать по большей части в Петербурге.

Выстрел на Черной речке 27 января (8 февраля) 1837 года оборвал жизнь Пушкина, его творческие замыслы...

Но такова была жизнеутверждающая сила гения Пушкина, что даже его наброски сыграли свою роль в истории русской литературы. Известно, например, что пушкинский эскиз «Гости съезжались на дачу...» побудил Л. Н. Толстого начать работу над романом «Анна Каренина».

«Началом всех начал» назвал Пушкина М. Горький — это верно во всех отношениях. Петербург, открытый в творчестве Пушкина, был завещан им другим мастерам слова.





Скучная книга

В конце 1833 года Пушкин вернулся в Петербург из своего самого длительного путешествия по России. Собирая материалы для «Истории Пугачева», он посетил Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Уральск, Оренбург, затем заехал на полтора месяца в нижегородское имение Болдино, где, как и три года назад, ему хорошо поработалось.

«Сим имею честь донести, — сообщил 11 ноября по начальству сергачевский земский исправник Званцов, — что г. Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда в селе Болдине, имеющем расстояние от вверенного мне уезда не более трех верст, во все время пребывания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением, ни к кому господам не ездил и к себе никого не принимал, в жизни его предосудительного ничего не замечено, а сего 9 числа он, Пушкин, отправился чрез Москву в С.-Петербург».

Исправник выполнил свой долг. Теперь цензуре предстояло решать, предосудительны ли те рукописи, которые вез с собой в дорожном сундуке Пушкин: «История Пугачева», «Медный всадник», «Анджело», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Пиковая дама», «Песни западных славян»...

Вскоре по возвращении он завел еще две рабочие тетради. Это свидетельствовало о возникновении новых, рассчитанных на длительный срок замыслов. В альбоме в виде портфеля с замочком 24 ноября он начал вести дневник. В другом альбоме, которому суждено было стать последней его рабочей тетрадью, 2 декабря карандашом начал писать: «Более 15 лет не бывав в Петербурге и...» — зачеркнул начатую фразу, а потом уже без помарок записал первый абзац:

«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал я более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября, в десять часов утра, выехал из Тверской заставы».

Над этим произведением Пушкин будет работать на протяжении всего 1834 года, в начале 1835-го перебелит его, станет опять править и дополнять, потом отдаст часть рукописи переписчику, предполагая напечатать хотя бы то, что могла пропустить цензура, в своем журнале «Современник». Но произведение это так и останется при его жизни

неопубликованным и даже незаглавленным (оно получило редакторское название «Мысли на дороге», позже — «Путешествие из Москвы в Петербург»).

Общие очертания нового замысла были так обозначены в конце первой главы: «...собравшись в дорогу, я зашел к старому моему приятелю **, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении... „Постой, сказал мне **, — есть у меня для тебя книжка”. С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. „Прошу беречь ее, — сказал он таинственным голосом. — Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность”. Я раскрыл ее и прочитал заглавие „Путешествие из Петербурга в Москву. СПб. 1790 год...”

Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость...

Я искренно благодарил ** и взял с собою „Путешествие”. Содержание его известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменили лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева

путешествовать со мною из Москвы в Петербург».

Принято считать, что под библиофилом тут подразумевается С. А. Соболевский, давнишний пушкинский приятель, любитель книжных редкостей. Но это не согласуется с текстом: число звездочек, заменяющих фамилию, обычно соответствовало количеству слогов в ней. Не себя ли здесь имел в виду автор? Как раз в 1833 году он приобрел редчайший, с многочисленными пометами красным карандашом экземпляр книги Радищева и начертил на форзаце: «Экземпляр бывший в тайной канцелярии заплачен двести рублей».

И это не единственное упоминание о себе в тексте «Мыслей на дороге».

Во второй главе читаем: «Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости».

А здесь кто имелся в виду? Вспоминали Вяземского, Гоголя, пока не было высказано парадоксальное, но наиболее убедительное предположение, что это сам Пушкин, который, как свидетельствовал один из мемуаристов, считал, «что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго».

До некоторой степени такое предположение подтверждает и пушкинская рукопись. В беловом автографе главы (полного ее черно-

вого текста не сохранилось) заглавие «любопытного сравнения» установилось не сразу. Если бы автор действительно хранил у себя вполне определенную, чужую рукопись, то заглавие ее было бы там уже сформулировано и не могло варьироваться. Но в рукописи сначала было записано «Москва, Петербург и...» — что еще могло стоять здесь в этом ряду? Скорее всего — «...провинция».

Едва ли не главной побудительной причиной работы над «Путешествием» стало окончание «Истории Пугачева», актуальный смысл которой прямо обозначен в ее заключительной фразе: «Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он пугачевщиною». «Бунтовщиком хуже Пугачева» назвала Екатерина II автора книги, которую, двигаясь по шоссе «навстречу Радищеву», путешественник начал читать с конца, сравнивая собственные впечатления и поневоле вступая в спор со своим «дорожным товарищем». («Дорожный товарищ» — так первоначально была озаглавлена первая глава «Путешествия».)

Однако спор этот ведет не сам Пушкин, а некий путешественник, несудий, по мнению автора, полную ответственность за высказанные им оценки и умозаключения. «Драматического писателя, — предупреждал Пушкин, — должно судить по законам, им самим над собою признанным». Это предупреждение имеет прямое отношение и к «Путешествию из Москвы в Петербург», так как оно, по сути дела, построено по драматургическим законам: автор здесь

уходит в сторону и оставляет на сцене двух оппонентов, в противоборстве которых и должна открыться читателю истина.

В отличие от автора повествователь в «мыслях на дороге» — московский старожил, приверженный «тихому образу жизни». Он убежденный поборник дворянских прав, защитник существующей в России политической системы, придерживающийся последовательно консервативных взглядов. При этом он видит и пагубные эксцессы российской действительности, но убежден, что они возникают в результате нарушения законов: «Злоупотреблений везде много: уголовные дела везде ужасны».

Поэтому спор его с «нововводителем» Радищевым принципиален и бескомпромиссен. «Книга, некогда прошумевшая соблазном», «желчью напитанное перо», «безумная дерзость в нападении на верховную власть», «дерзость мыслей и выражений», которая «выходит из всех пределов», «мысли, большею частью ложные, хотя и пошлые», «мрачные краски» — вот те определения, которые вырываются поминутно у путешественника при чтении книги Радищева.

И тем не менее он отнюдь не замшелый ортодокс, а человек, мыслящий довольно самостоятельно, в высшей степени начитанный, обладающий хорошим литературным вкусом. Он отличный знаток русской литературы и народной поэзии, внимательный читатель московских и петербургских журналов. Он прочел и произведения, избежавшие цензуры:

«Горе от ума» Грибоедова, «Гимн бороде» Ломоносова. С некоторым удивлением мы обнаруживаем, что он общался с Дельвигом, читал «народные легенды, которые еще не изданы», собранные (при участии Пушкина) Н. М. Языковым и П. В. Киреевским, близок с самим Пушкиным (о чем уже говорилось выше).

В критической литературе эта широта литературных интересов повествователя нередко оценивается как неопровержимое свидетельство вольной или невольной подмены путешественника автором. Как будто и в самом деле среди друзей Пушкина не было людей, мыслящих консервативно, но честных и порядочных. Вспомним, например, Павла Воиновича Нащокина, московского старожилы и завсегдатя английского клуба, прекрасного знатока литературы; между прочим, в 1833 году после долгого перерыва он предпринял путешествие в Петербург, приглашенный поэтом на крестины второго своего сына, Григория.

Закономерное и необходимое противоборство радикальных и консервативных взглядов в нормальных обстоятельствах помогает регулировать государственную систему, не дает ей закоснеть и сдерживает ее катастрофическое разрушение. Но в условиях русской политической жизни такой обмен мнениями казался всегда неприемлемым и сверху, и снизу: со стороны правительства — по праву самовластной силы, со стороны радикалов — по бесправию нещадно гонимых, вынужденных возлагать надежды только на революционный слом

системы. В наше время в этом отношении мало что изменилось. Может быть, потому и оставалось непонятым пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург», что и до сих пор мы не научились вдумчиво вслушиваться в спор противоборствующих партий, стремимся ввязаться в драку за окончательную и бесповоротную победу над противником.

Мыслящий же широко, по-европейски, Пушкин в своем произведении, пожалуй, впервые в русской литературе столкнул на равных радикала и консерватора. Может показаться, что при этом последний поставлен в более выгодную позицию, нежели его оппонент, не имеющий возможности возразить и поспорить. К счастью, консерватор, в силу любви своей к книге, оказался в споре честным. Он постоянно дает слово Радищеву — и не только там, где может ему возразить, но и тогда, когда рассуждения «нововодителя» невольно поражают своей правотой.

Главным для Радищева был призыв к отмене крепостного права. И в этом вопросе в «Мыслях на дороге» он спор выиграл. Уже в главе «Русское стихосложение» путешественник признает, что в радищевской оде «Вольность» «много сильных стихов». Глава же «Медное (Рабство)» почти целиком состоит из радищевской цитаты и оканчивается тем, что путешественник замечает: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле». Впрочем, для по-

давляющего большинства возможных читателей пушкинского времени смысл этой сентенции был полузакрыт, так как книга Радищева для них была недоступна, а стало быть, неизвестным и его пророчество: «А все те, кто мог бы свободе поборствовать, все великие отчинники (то есть владельцы вотчин, крепостных поместий. — С. Ф.), и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения».

Путешественник и здесь, конечно, не отступает от консервативных убеждений, возлагает вину не на систему, а на злоупотребления. «Благосостояние крестьян, — считает он, — тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». И все же путешественник не закрывает глаза на то, как катастрофически нарастает масса злоупотреблений. Бунт для него по-прежнему бессмыслен, но уже страшен в своей неотвратимости.

Об этом повествователь размышляет в последней главе, прекращая поневоле спор с «нововводителем»:

«Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад... Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран,

но тиран по системе и убеждению, с целью, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать... Первым его старанием было общее и совершенное разорение... Крестьянин не имел никакой собственности, он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина... Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит крестьянами во время пожара».

Картина эта поражает точностью социологического анализа, проникающего в истинную суть «проклятой расейской действительности». Вот во что выливается точно обозначенная в «Мыслях на дороге» готовность правителей самовластно вести своих подданных «через тернии к звездам». И с этой точки зрения колеблется отправной символ веры пушкинского путешественника, сформулированный в начале повествования: «Не могу не заметить, что со времени восшествия на престол Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно».

В черновике это рассуждение было дополнено европейской параллелью: «Вот что со-

ставляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы изгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму». Давно замечено, что в данном случае варьировались хорошо известные в обществе разглагольствования шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Объясняя причины июльской революции во Франции 1830 года, он говорил Николаю I, «что с самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли во главе народа, а что сам он влачил их за собою, и что Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи, но что по этому самому не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти».

Заметно, что этот охранительный взгляд пушкинский путешественник существенно корректирует: для него важно, чтобы правительство было «всегда впереди на поприще образованности и просвещения». Иными словами, он, консерватор, конечно, за монархию, но монархию просвещенную.

У Пушкина же к 1830-м годам вызрело совершенно иное представление о застрельщиках российского просвещения. В «Опыте

отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) он писал: «Нападения на писателей и оправдания, которым они дают повод, суть важный шаг гласности о действиях так называемых общественных лиц, к одному из главнейших условий высокообразованного общества. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники приносят истинную пользу: мало-помалу образуется и уважение к личной чести человека и возрастает могущество общественного мнения, на котором в просвещенном обществе основана чистота его нравов.

Таким образом дружина ученых и писателей, какого б рода она ни была, всегда впереди во всех набегах просвещения и на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Эта чрезвычайно дорогая, выстраданная всей жизнью своей мысль отзовется и в итоговом стихотворении Пушкина (черновик «Памятника» будет набросан в его последней рабочей тетради, начатой «Мыслями на дороге»):

...И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу

(В черновике: Что вслед Радищеву восславил я свободу.)

И милость к падшим призывал.
Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Та же мысль подспудно (путешественник подчас высказывает ее невольно, иногда спорит с ней, впадая при этом в противоречие с самим собой) пронизывает и «Путешествие из Москвы в Петербург». Недаром самая странная глава здесь посвящена Ломоносову. «Ломоносов, — читаем здесь, — был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения». (Путешественник оговорился: ведь чуть выше он утверждал, что в России правительство было всегда впереди на поприще просвещения.) «Ломоносов, рожденный в низком состоянии, не думал возвысить себя наглостью и запанибратством с людьми высшего сословия (хотя, впрочем, по чину он мог быть и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить: „Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже́ у Господа моего Бога дураком быть не хочу“». 10 мая 1834 года Пушкин также записывает в своем дневнике: «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я

могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у Царя Небесного».

С этими, большими для Пушкина материями впрямую связана и небольшая главка, озаглавленная «Этикет», где, в частности, сказано: «Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся покорнейшими слугами, и, кажется, никто из этого не заключал, чтобы мы просились в камердинеры».

В сущности, здесь разграничиваются законы общежитности, частного общения людей между собой, основанные подчас на правилах несколько чопорной традиции, и законы государственные, которые не должны подавлять личность, посягать на ее свободу. В этом вопросе позиции путешественника и автора полностью совпадают.

Они коренным образом расходятся, как только речь заходит о взаимоотношении писателя (и шире — прессы вообще) с властями. Мы уже замечали, что *de facto* путешественник склонен подчас писателей, а не правительство признать проводниками просвещения. Но общая консервативная позиция мешает ему признать то же *de jure*. В главе «О цензуре», которая является, пожалуй, идейным средоточием всего произведения, путешественник дает на этот счет отповедь радикалам. «Очевидно, что

аристократия самая мощная, самая опасная, — предупреждает он, — есть аристократия людей, которые на целые (...) поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия природы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же овладеть вами совершенно». «Разве речь и рукопись, — размышляет путешественник, — не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона».

Будучи последовательным консерватором, путешественник таким образом протестует не только против свободы книгопечатания, но и против свободы любого выражения мысли, коль скоро она посягает на государственные устои. И потому уже не вызывает удивления его протест против самой мысли: «Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль (...) Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».

Мысль — в пределах закона? Стало быть, сама мысль может быть подсудна? Вполне очевидно, что это не может быть пушкинским убеждением. Но ведь и сам путешественник, строго стоящий на страже закона, обратившись ради любопытства к книге Радищева и прочитавший ее не без пользы для себя, тоже нарушил закон (книга-то властями запрещена!). Всей образно-публицистической системой своего произведения, без сатирического раздражения Пушкин противопоставляет посягательству кого-либо на поиски истины, невозможные без полной свободы мысли.

Избранная Пушкиным форма его «Путешествия из Москвы в Петербург» может на первый взгляд показаться аморфной. Приведенная здесь оценка книги Радищева («Радищев написал несколько отрывков... В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка») хотя, по сути дела, и не верна, но, как вполне очевидно, определяет и построение пушкинского произведения. Рассчитывая на внимательного читателя, Пушкин пытается указать альтернативу стихийно назревавшему бунту, готовому снести до основания все и вся. Альтернатива эта — в оживлении (в России же — в зарождении и скорейшем развитии) политической жизни, невозможной без столкновения и противоборства мнений. «В тюрьме и в путешествии, — ориентирует он своего читателя, — всякая книга есть Божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна,

как арабская сказка, если попадетсЯ вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее... Книга скучная... читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать...»

Случайно ли здесь настойчиво упоминаются тюрьма, каземат?

Фрагментарное, рассчитанное на вдумчивое чтение пушкинское произведение лишь на первый взгляд производит впечатление незавершенного. Предпринятое путешествие не доведено до конца, до петербургской заставы, а книга Радищева осталась недочитанной. Но своеобразной композиционной скрепой «Мыслей на дороге» служит упоминание одного и того же момента биографии путешественника в начале и в конце повествования: «лет 15 тому назад». Это в свою очередь помогает заметить соотнесенность художественных образов, воссозданных в первой и последней главах: «великолепного шоссе», проложенного между старой и новой столицами по повелению самодержавной власти, и шлязов, которые взывают к благодарной памяти о том, «кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сделал реку рукодельною и все концы единой области привел в сообщение». Символический подтекст этих картин отчетливо Пушкиным прояснен: в первом случае «народ следует» за правительством «лениво, а иногда и неохотно», во втором — «во всем блеске» обнаруживается «мощный побудитель челове-

ских деяний, корыстолюбие» (или, как бы мы сказали теперь, после того как это понятие было напрочь скомпрометировано, личный интерес, интерес личности).

Путешествие, описанное Пушкиным, недаром, наверное, обрывается на полдороге между Москвой и Петербургом. Может быть, именно из провинции начнется новый исторический путь России?





Пушкинский Дом

Те, которым посчастливилось попасть на экскурсию в хранилище рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, обычно оставляют записи в книге отзывов. Сама эта книга со временем получит соответствующий шифр и ляжет в картон — на вечное хранение, так как и она — собрание ценных автографов. Вот некоторые из них:

«Слов нет. Одно смятение и трепет. Как никогда и нигде. Татьяна Сергеевна Есенина».

«Мне выпало огромное счастье видеть и изучать рукописи Чехова, Гоголя и Достоевского, волшебных писателей, которые были моими учителями. С добрыми пожеланиями — Ирвинг Стоун».

«Делясь впечатлениями о моем посещении Пушкинского Дома, я хочу выразить свое восхищение заботливостью и энтузиазмом, с которыми здесь хранят рукописи Пушкина. Необ-

ходимо, чтобы каждому великому писателю любой литературы был посвящен такой же храм, в котором ему служили бы с такой же преданностью и вниманием (...) Профессор Рене Помо (Сорбонна)».

Слова эти — не просто дань вежливости.

Когда в специальной комнате-сейфе, где хранятся рукописи Пушкина и документальные материалы о нем, на столик ложатся рядом автограф стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» из архива Державина (значит, тот самый, который преподнес маскитому поэту юный лицеист после экзамена в 1815 году!) и последняя записка Пушкина, которую он в день роковой дуэли адресовал писательнице А. О. Ишимовой, трудно сдержать волнение. По-особому зримо и остро ощущаешь, что здесь собрано все о Пушкине, когда рядом с последними пушкинскими строками раскрывается на листе 46 толстенная, в грубой холстине «Метрика Сретенского Сорока» за 1799 год: «В мае, 27-го. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его мезора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов. Кума мать означенного Пушкина вдова графиня Ольга Васильевна Пушкина». Когда соединяются вместе полоски единого листа с рукописью сцены из «Русалки» — листа, некогда разрезанного одним из издателей и розданного сотрудникам в виде гонорара, воочию убеждаешься, насколько необходимо было собрать воедино весь фон пуш-

кинских рукописей, разошедшихся с годами по рукам сотен и сотен различных владельцев.

В рукописях Пушкина прочитано сейчас почти каждое слово. Большое количество его автографов воспроизводилось фототипически. О требовательной работе поэта над словом, зримым воплощением которой служат нередкие в пушкинских тетрадах страницы, где после всех исправлений в конце концов остались незачеркнутыми две-три фразы, написано много исследований и популярных очерков. И все же каждая непосредственная встреча с пушкинской рукописью никого не оставляет равнодушным.

Автографы Пушкина — в альбомах с роскошными переплетами, в записных книжках и в дорожных тетрадах, на отдельных листах, прошитых жандармами и ими же пронумерованных, когда после кончины поэта «высочайший цензор» повелел начальнику штаба корпуса жандармов учинить посмертный досмотр бумагам Пушкина... Рукописи — 1772 единицы хранения, более 12 тысяч листов...

Драгоценные реликвии, подчас до деталей воссоздающие творческий процесс — от зарождения замысла, даже от намека на него, до окончательного и совершенного его воплощения... Вот пушкинский рисунок Фальконе-това памятника — на полях «Тазита», но уже тающий в себе зерно другой поэмы: конь без всадника, вздыбившийся на краю скалы; черновые наброски «Медного всадника» в аль-

боме с разноцветными листами; болдинская «беловая» рукопись, снова превращенная в черновик; цензурный экземпляр с карандашными крючками-вопросами Николая I; писарская копия с правкой Жуковского, приспособившего после смерти Пушкина текст поэмы к цензурным требованиям, — в таком виде она и печаталась в дореволюционных изданиях...

Листаем разноцветные листы пушкинского альбома. Начало «гимна Великому городу», первый его вариант:

Громады тесные дворцов
Стоят вдоль невских берегов,
Одетых рамою гранитной...

Все точно — перед нами, несомненно, левый берег Невы, представляющий собою разительный контраст тому, что было на этом месте в ту пору, когда «по мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там». Однако поиски предельно выразительного образа «юного града» продолжают. Ряд промежуточных вариантов — и наконец:

По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся...

Картина наполняется жизнью, движением. Взгляд поэта переносится на правый берег реки, к Стрелке Васильевского острова. Имен-

но здесь, у подножия Ростральных колонн, в пушкинскую пору покачивался, словно колеблемый ветром, лес корабельных мачт. На пристани у груды тюков суетились матросы, купцы, маклеры. А над всей этой сутолокой возвышалась выполненная в виде величественного храма Посейдону петербургская биржа. От нее двумя лучами вдоль набережных расходились пакгазуы. Со стороны Большой Невы ансамбль замыкался башней Кунсткамеры. В 1832 году на берегу Малой Невы по проекту Лукини было построено здание Таможни, замкнувшее ансамбль с севера. Строгое классическое строение располагалось симметрично Кунсткамере и было также увенчано башней, что вместе с Ростральными колоннами сообщило Стрелке Васильевского острова законченный архитектурный ритм.

Год спустя, мысленно представляя в далеком Болдине город на Неве, поэт вспомнил в ряду других «стройных громад» и это новое здание с башней.

В наши дни в здании бывшей Таможни помещается Институт русской литературы РАН — Пушкинский Дом.

Когда в 1927 году Пушкинский Дом обрел, наконец, свое постоянное место, достойное его богатейших коллекций и самого его имени, история этого учреждения исчислялась уже не одним десятилетием. Впрочем, было бы затруднительно точно определить дату его рождения: он возникал естественно и трудно, как пушкинская строка.

Положение о Пушкинском Доме было утверждено 14 июля 1907 года. В нем, в частности, говорилось: «Пушкинский Дом учреждается в благоговейную память о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине для собирания всего, что касается Пушкина, как писателя и человека. Пушкинский Дом предназначается также для хранения всего, что касается жизни и деятельности представителей русской изящной словесности... Пушкинский Дом составляет государственное достояние и находится в ведении императорской Академии наук».

Можно ли это положение считать основанием Пушкинского Дома? Нет — в том году он был только процензурован, а начался гораздо раньше. Уже в 1899 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Пушкина, при Академии наук была организована юбилейная выставка, на которую от различных учреждений, а более — от частных лиц, поступило 703 экспоната: автографы поэта, издания, в которых были напечатаны пушкинские произведения, портреты Пушкина и его современников, виды местностей, где он жил, иллюстрации к его произведениям. Правда, просуществовала эта выставка всего две недели, а потом собрание расплылось. Но впечатление, произведенное ею, было настолько велико, что с тех пор, увидев воочию мемориал поэта, Комиссия по возведению памятника Пушкину в Петербурге, сменившая собою Юбилейную комиссию, прилагает настоячивые усилия, чтобы создать такой мемориал.

Задачи, возложенные на комиссию, были довольно скромны — прежде всего сбор по добровольной подписке средств; на заседаниях же настойчиво обсуждался проект создания Пантеона русской литературы, носящего имя Пушкина.

Один из самых деятельных членов комиссии, вице-президент Академии наук Л. Н. Майков, уже в юбилейном году начал переговоры с внуком поэта, А. А. Пушкиным, о приобретении личной библиотеки его деда. Приобретенные в 1906 году Академией наук книги положили основание не только собственно библиотеке будущего Пушкинского Дома, но и двум другим его отделам: рукописному и музею.

Коллекции Пушкинского Дома росли по преимуществу за счет добровольных пожертвований и лишь в незначительной части — путем приобретения на средства казны. Может показаться удивительным, как при всех крайне неблагоприятных для него обстоятельствах Пушкинский Дом все же не захирел, а, наоборот, год от года расширялся и обогащался подлинными сокровищами русской культуры, почти стихийно, по вдохновению горстки энтузиастов. Не было ни средств, ни помещения, не хватало рабочих рук, было, казалось, только одно имя, но зато такое, о котором в последнем своем стихотворении в 1921 году Александр Блок писал:

Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!

Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

В 1917 году в Пушкинский Дом влилось богатейшее собрание Пушкинского музея из Александровского лицея, которое вместе с поступившим вскоре после этого фондом академика Я. К. Грота, бывшего лицеиста, а также с обнаруженными значительно позже лицейскими материалами А. М. Горчакова, сокурсника великого поэта, составило исчерпывающую коллекцию документов, относящихся к лицейскому периоду жизни Пушкина. 20 апреля 1918 года Пушкинский Дом зачисляется в ряд полноправных академических учреждений, а в следующем году утверждаются его штаты и первая расходная смета.

В конце 20-х годов в Пушкинский Дом были, наконец, доставлены из Парижа замечательные коллекции А. Ф. Онегина. Любовь к Пушкину владельца их (выразившаяся и в том, что он сменил свою фамилию Отто на поэтическую фамилию героя романа в стихах) побудила его с юности к коллекционированию всего, что так или иначе относилось к великому поэту. Самым ценным в собрании Онегина стали пушкинские автографы, частью подаренные ему друзьями (большинство — сыном Жуковского), частью приобретенные им самим на аукционах Парижа, куда он пе-

реселился в 1860 году. Переговоры — и довольно удачные — о передаче этих коллекций в Пушкинский Дом велись еще в начале века. Как только наладились отношения с Францией, А. Ф. Онегину было выплачено дополнительно 100 тысяч франков, и его собрание стало собственностью Советского государства. Незадолго до того, обеспокоенные ложными слухами о смерти коллекционера и о распаде его музея, ученые Пушкинского Дома выпустили в свет подготовленную на основе фотокопий автографов онегинского собрания книгу «Неизданный Пушкин».

На основании постановления Совнаркома от 4 марта 1938 года и распоряжения Президиума Академии наук СССР от июня 1948 года рукописи Пушкина, хранившиеся ранее в различных советских архивохранилищах, сосредоточены в Пушкинском Доме.

Уже к началу 1930-х годов Пушкинский Дом сложился в научно-исследовательский институт. С этой поры начинается новая эпоха в жизни Пушкинского Дома, основными вехами которой становятся труды его творческих секторов. Однако не случайно в названии, которое сейчас носит институт, — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН — сохранено его историческое имя. Ведущее место в научных планах института неизменно занимают пушкиноведческие исследования, имеющие здесь богатейшие традиции.

Рассказ о Пушкинском Доме как о своеобразном памятнике великому поэту был бы неполон без упоминания о Пушкинском ка-

бинете, организованном в институте в 1934 году. Здесь собраны все отечественные издания сочинений Пушкина и исследования о нем. За считанные минуты с помощью целой системы разнообразных каталогов в Пушкинском кабинете можно получить исчерпывающую справку, касающуюся самых разнообразных вопросов, встающих перед исследователем жизни и творчества Пушкина. Среди коллекций книг, сосредоточенных здесь, имеются редчайшие издания, как, например, один из двух сохранившихся экземпляров декабристского альманаха «Звездочка» за 1826 год, том «Литературной газеты» за 1830 год с пометами Дельвига и Вяземского, альманах «Полярная звезда» с надписью Рылеева. Среди 40 тысяч томов различных изданий в кабинете представлены переводы произведений поэта на 80 языков народов СССР и на 40 иностранных языков. На многих книгах — дарственные надписи их переводчиков.

Последняя крупная коллекция изданий в Пушкинский кабинет поступила в 1990 году. Советским фондом культуры она была получена в дар от Лидии и Сержа Варсоно. Это собрание книг, периодики, проспектов, приглашений, брошюр, афиш, открыток, посвященных в основном Пушкинским торжествам 1937 года. Перечислим из этой коллекции лишь названия газет и журналов (специальные Пушкинские выпуски), которые наглядно свидетельствуют, насколько широко чествовали память поэта наши соотечественники,

разбросанные социальными бурями по всему миру:

- Бюллетень Русского общества помощи беженцам в Великобритании;
- Вестник русского объединения в Каире;
- Возрождение. Орган русской национальной мысли (Париж);
- Голос России (София);
- Для вас (Рига);
- Доброволец (Париж);
- За новую Россию (София);
- За свободу. День русской культуры (Нью-Йорк);
- Иллюстрированная Россия (Париж);
- Меч (Варшава);
- Мир и искусство (Париж);
- Морской журнал (Прага);
- Наш путь (Харбин);
- Молва (Кишинев);
- Новая Россия (Париж);
- Последние новости (Париж);
- Россия и славянство (Париж);
- Рубеж (Харбин);
- Русская мысль (Париж);
- Русский в Англии (Лондон);
- Русский в Аргентине (Буэнос-Айрес);
- Русское дело (Белград);
- Старый нарвский листок;
- Станица (Париж);
- Часовой (Брюссель).

И напоследок — три надписи, сохранившиеся на одной из книг коллекции Варсоно — на каталоге выставки «Пушкин и его эпоха», организованной в 1937 году в Париже:

«Милому славному сотруднику по Пушкинской выставке — русское спасибо! Сергей Лифарь»;

«Хорошая была выставка — Пушкинская! И приятно было на ней — для нее работать с Александром Ксенофоновичем Семенчаковым. Александр Бенуа»;

«Спасибо за милые незабвенные разъяснения — Ф. Шаляпину у Пушкина».



Содержание

В мире Пушкина	3
«Драгоценная для потомства...»	21
«Даль свободного романа»	47
«Комедия о великой беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»	82
«Я к вам лечу воспомянем...»	108
Пушкин рассказывает...	121
«Я вам благодарен за доброту...»	139
Весной 1828-го	158
«Затемнена некоторыми облаками...»	181
В соревновании с Паньком и Гомозейкой	194
Последнее произведение	209
«Прощайте, друзья!»	237
«Люблю тебя, Петра творенье»	259
Скучная книга	283
Пушкинский Дом	301

**Сергей Александрович
Фомичев**

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ

Редактор издательства *И. И. Шефановская*

Художник *Л. А. Яценко*

Технический редактор *О. Б. Мацылевич*

Корректоры *О. И. Буркова, Н. И. Журавлева*

и *А. Х. Салтанаева*

ЛР № 020297 от 27.11.91. Сдано в набор 09.03.95.

Подписано к печати 16.10.95. Формат 70 × 90¹/32.

Бумага офсетная. Гарнитура академическая.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11.7. Уч.-изд. л. 11.2.

Тираж 3000 экз. Тип зак. № 3321. С 1207

**Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1**

**Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12.**